

ГЛАВА IV. Рождение психиатрической лечебницы

Картина этого события общеизвестна. Без нее не обходится ни одна история психиатрии: ее образы призваны проиллюстрировать наступление той блаженной эпохи, когда безумие получает наконец признание и уход, соответствующие его истине, к голосу которой все слишком долго оставались глухи.

“Почтенное Общество квакеров... пожелало обеспечить для тех членов своих, каковые будут иметь несчастье утратить рассудок, не имея достаточного состояния, чтобы искать помощи в дорогостоящих заведениях, возможность пользоваться всеми достижениями врачебного искусства и всеми уладами жизни, совместными с их положением; средства на то собраны были по добровольной подписке, и около двух лет назад неподалеку от города Йорка возникло заведение, которое, как представляется, соединяет в себе многие преимущества со всею возможною хозяйственною экономией. И если поначалу душа приходит на миг в содрогание в виду сей ужасной болезни, словно нарочно созданной для уничтожения разума человеческого, то вслед за тем созерцание всего, что изобретено было хитроумным благожелательством человека ради излечения и облегчения ее, навеивает нам чувства мирные и приятные.

Дом сей расположен в миле от Йорка, среди плодородных, веселящих взор полей; зрелище его пробуждает в мыслях образ не тюрьмы, но скорее большой деревенской фермы; окружает его обширный, обнесенный оградой сад. Никаких засовов, никаких решеток на окнах”[1].

Что же до освобождения сумасшедших в Бисетре, то оно описано в знаменитом рассказе: вот принято решение снять оковы с узников подземелий; госпиталь посещает Кутон, желая убедиться, что в нем не скрывается никаких подозрительных лиц; Пинель отважно выходит ему навстречу, в то время как все дрожат при виде “калеки, которого несут на руках”. Мудрый филантроп и паралитическое чудовище сходятся лицом к лицу. “Пинель немедля препроводил его в отделение для буйных, и зрелище одиночных камер произвело на него тягостное впечатление. Он пожелал лично допросить всех больных. От большинства он не добился ничего, кроме оскорблений и грубых выкриков. Продолжать допрос было бесполезно. Оборотившись к Пинелю, он спросил: “Ты что, гражданин, хочешь спустить с цепи подобных зверей? Уж не сошел ли и ты с ума?” Пинель спокойно отвечал: “Гражданин, я убежден, что сумасшедшие эти столь несговорчивы единственно потому, что их лишают

воздуха и свободы”. “Что ж, делай, как знаешь, боюсь только, как бы ты не пал жертвой своих убеждений”. Засим Кутона уносят к его карете. Отъезд его был для всех облегчением; все перевели дух; великий филантроп не мешкая принялся за дело”[2].

В обоих рассказах мы имеем дело с образами — во всяком случае в той мере, в какой главная их притягательность зиждется на формах воображаемого; патриархальный покой, царящий в доме Тьюка, где постепенно утихают сердечные страсти и расстройства ума; прозорливая стойкость Пинеля, усмиряющего единым словом, единым жестом двух исполненных животной ярости безумцев, которые извергают угрозы и подстерегают его; и та мудрость, что сумела понять, где таится подлинная опасность — в буйных ли сумасшедших, или в бесчеловечных условиях их существования, — образы эти еще долго, вплоть до наших дней, будут нести на себе всю нагрузку легенды.

Отрицать их бесполезно. До нас дошло слишком мало более основательных документов. Кроме того, в своем простодушии они весьма насыщены смыслом и потому открывают перед нами много такого, о чем не говорят прямо. Каждый из них поразительно глубок, и мы должны выявить как конкретную историческую ситуацию, которая за ними стоит, так и мифологические значения, которые они передают нам, выдавая их за истину, и, наконец, те реальные действия, которые, собственно, и были произведены и символом которых они выступают.

* * *

Прежде всего, Тьюк — квакер; он активный член одного из тех многочисленных “Обществ друзей”, что развернули свою деятельность в Англии с конца XVII в.

Как мы видели, английское законодательство второй половины XVIII в. все больше поощряет частную инициативу в сфере благотворительности[3]. Создаются разного рода страховые общества, поощряется создание обществ взаимопомощи. Но квакеры, по причинам и экономического, и религиозного порядка, исполняли эту роль уже более столетия, причем первоначально — против воли правительства. “Мы не даем ни гроша людям, одетым в черное, для того чтобы они помогали нашим бедным, хоронили наших умерших, проповедовали верующим: священные эти обязанности слишком нам дороги, чтобы перекладывать их на чужие плечи”[4]. Понятно, что в конце XVIII в., когда складываются новые условия, принимается закон от 1793 г. о “поощрении и поддержке обществ взаимопомощи”[5]. Речь в нем идет об ассоциациях, создававшихся по образцу и часто в духе обществ квакеров для того, чтобы через сбор средств и дарения оказывать помощь тому из членов, кто попадет в затруднительные обстоятельства, станет калекой или заболеет. В тексте закона уточняется, что эти институты могут оказаться “весьма благодетельными, ибо они споспешествуют счастью отдельных людей, облегчая при этом бремя общественных нужд и расходов”. Важная деталь: члены подобных обществ не подлежат “Removal”, перемещению, т. е. не подпадают под действие законодательной нормы, согласно которой приход вправе и обязан избавиться от больного бедняка либо неимущего — уроженца другого прихода, отослав его к месту проживания. Следует отметить, что эта мера, перемещение, определенная в Акте о поселениях, будет в 1795 г.

отменена[6]: теперь приходу вменяется в обязанность позаботиться о больном бедняке, не принадлежащем к нему, если его перевозка на родину опасна для здоровья. Такова юридическая сторона того необычного конфликта, который и привел к возникновению Убежища.

С другой стороны, можно предполагать, что квакеры всегда проявляли особую бдительность во всем, что касалось ухода и благотворительной помощи умалишенным. С самого начала им пришлось столкнуться с изоляторами: в 1649 г. Джордж Фоке и один из его товарищей по указанию судьи были отправлены в Дерби, в исправительный дом, где должны были подвергнуться порке и шестимесячному заключению за богохульство[7]. В Голландии квакеров не раз помещали в Роттердамский госпиталь[8]. А Вольтер в “Философских письмах” вкладывает в уста своему Квакеру то ли вправду услышанные у них, то ли выражающие расхожее мнение слова о том, что вдохновляет их не всегда Божественный Глагол, а случается, и бессмысленный лепет неразумия: “Мы... не можем знать, вдохновлен ли человек, встающий, чтобы держать речь, разумом или же глупостью”[9] (п.94). Так или иначе, квакеры, наряду с большинством религиозных сект конца XVII — начала XVIII в. оказались втянуты в великий спор религиозного опыта и неразумия[10]; некоторые формы этого опыта для других людей, а быть может, и для них самих, выглядели пограничными между здравым смыслом и безумием; по-видимому, им приходилось все время отделять одно от другого, опровергая обвинение в сумасшествии, которое против них постоянно выдвигали. Возможно, именно этим объясняется повышенный и несколько подозрительный интерес, с каким “Общества Друзей” относились к содержанию безумных людей в изоляторах.

В 1791 г. одну женщину — члена секты поместили в “заведение для помешанных, подле города Йорка”. Ее родные, живущие вдалеке от тех мест, поручают Друзьям проследить, хорошо ли с ней будут обращаться. Однако больничное начальство запрещает посещения под тем предлогом, что состояние женщины не позволяет ей ни с кем видеться. Через несколько недель больная умирает. “Прискорбное сие событие естественным образом навело на мысли о том, в каком положении пребывают умалишенные и какие улучшения возможно было бы предпринять в заведениях подобного рода. В частности, стало ясно, что Общество Друзей получило бы особое преимущество, если бы само владело такого рода больницей, которая бы находилась под его неусыпным надзором и в которой можно было бы применять лучшее лечение, нежели то, что практикуется обыкновенно”[11]. Так рассказывает о происшедшем Сэмюэл Тьюк двадцать лет спустя.

Судя по всему, это один из многочисленных инцидентов, к которым привел Акт о поселениях. Лицо, располагающее скудными средствами, заболевает вдали от дома; по закону его следует препроводить в родные места. Однако его состояние, а возможно, и необходимые издержки препятствуют транспортировке. Складывается отчасти незаконная ситуация, которая может быть оправдана только непосредственной угрозой здоровью и к тому же должна быть узаконена распоряжением об изоляции, подписанным мировым судьей. Однако вне стен лечебницы на помощь этому лицу не может прийти ни одно общество милосердия, кроме общества его родного прихода. Коротко говоря, бедняк, которому довелось тяжело заболеть вне своего прихода, целиком предоставлен абсолютному и совершенно бесконтрольному произволу изоляции. Против этого-то и

восстают благотворительные общества; права ухаживать за своими заболевшими членами на месте они добьются в законе, принятом в 1793 г., через два года после случая, описанного Сэмюэлом Тьюком. Таким образом, замысел частно-коллективного дома для умалишенных нужно понимать как еще один среди многочисленных знаков протеста против устаревшего законодательства, касающегося бедняков и больных. Впрочем, даты говорят сами за себя, — как бы ни старался развести их подальше Сэмюэл Тьюк в своем стремлении приписать всю заслугу предприятия единственно щедрости и самоотверженности частных лиц. В 1791 г. возникает замысел йоркских квакеров; в начале 1793 выходит закон, поощряющий благотворительные общества взаимопомощи и освобождающий их от Removal: благотворительность тем самым переносится из прихода в сферу частной инициативы. В том же 1793 году квакеры Йорка объявляют подписку и голосуют устав общества; на следующий год решен вопрос о покупке земельного участка. В 1795 г. официально отменен Акт о поселениях; начинается строительство Убежища, и на следующий год дом готов к эксплуатации. Предприятие, задуманное Тьюком, четко вписывается в великую юридическую реорганизацию благотворительности — в ряд мер, посредством которых буржуазное государство в конце XVIII в. создает частную благотворительность и ставит ее себе на службу.

Событие, ставшее во Франции предпосылкой освобождения “узников Бисетра”, по своей природе совершенно иное, а обстоятельства, в которых оно произошло, установить гораздо труднее. Законом 1790 г. предусматривалось устройство крупных госпиталей, предназначенных для умалишенных. Но к 1793 г. ни один из них так и не был основан. Бисетр считался “Домом для бедняков”; здесь по-прежнему, как и до революции, содержали вперемешку неимущих, стариков, уголовных преступников и безумцев. К этим традиционным его обитателям добавились те, кого поместила туда революция, прежде всего политические заключенные. Пьерсен, надзиратель отделения для сумасшедших Бисетра, 28 брюмера III года, т. е. как раз в тот период, когда им заведовал Пинель, пишет в Комиссию по гражданским органам управления: “Под началом моим по-прежнему состоят задержанные, подлежащие даже революционному суду”[12]. Затем, в Бисетре скрываются подозрительные лица. Бисетр, как и пансион Бельом, Мезон Дуэ или Верне[13], использовался как прибежище для лиц, находящихся под подозрением. В эпоху Реставрации, когда требовалось изгладить память о том, что Пинель служил врачом в Бисетре во времена террора, ему будут ставить в заслугу, что он оказывал таким образом покровительство аристократам и священнослужителям: “Пинель был врачом в Бисетре, когда наступила эпоха, каковую нельзя вспомнить без боли, и от арестантского дома потребовалось уплатить дань смерти. Террор поселил здесь священников, вернувшихся на родину эмигрантов; г-н Пинель имел дерзость воспротивиться выдаче большинства из них, утверждая, что они помешаны в уме. Власти проявили настойчивость; он удвоил сопротивление, и скоро оно достигло такой силы, что он сумел взять верх над палачами; энергия человека, обыкновенно столь мягкого и податливого, спасла жизнь значительному числу жертв, среди которых следует назвать прелата, ныне занимающего во Франции весьма высокое положение”[14]. Но следует учитывать и другое: в эпоху революции Бисетр превратился в главный госпиталь для умалишенных. В результате первых попыток применить на практике закон 1790 г. сюда направили безумцев, освобожденных из смиренных домов, а немногим позже — сумасшедших, которыми были переполнены палаты Отель-Дьё[15]. Так что Бисетр, не столько в результате осуществления какого-то

продуманного замысла, сколько волею обстоятельств, неожиданно для себя унаследовал ту медицинскую функцию, которая существовала на протяжении всей классической эпохи, отдельно от изоляции, и благодаря которой Отель-Дьё оказался единственным в Париже госпиталем, где предпринимались систематические попытки излечения безумных. Но если Отель-Дьё не прекращал этой своей деятельности со Средних веков, то Бисетру пришлось приступить к ней в условиях изоляции, причем как никогда запутанной; впервые Бисетр стал госпиталем, где сумасшедших лечат до полного выздоровления:

“Поскольку с самого начала революции администрация общественных заведений полагала необходимым содержать безумных в свободной лечебнице лишь тогда, когда они вредны и опасны для общества, то они находятся там, покуда больны, а как только не остается сомнений в их окончательном выздоровлении, их возвращают в лоно семьи или в круг друзей. Свидетельством тому — выписка из госпиталя всех, к кому вернулся здравый рассудок, и даже тех, кто, согласно решению предшествующего парламента, был заключен туда пожизненно, ибо администрация полагает своим долгом держать в заключении только безумцев, неспособных наслаждаться свободой”[16]. Бисетр очевидным образом наделяется медицинской функцией; теперь следует подвергнуть возможно более справедливому пересмотру все случаи изоляции по причине слабоумия, решение по которым было вынесено в прошлом[17]. И вот впервые за всю историю Общего госпиталя в клинику Бисетра назначается человек, уже пользующийся определенной известностью благодаря своим исследованиям в области душевных болезней[18]; само назначение Пинеля — доказательство того, что присутствие безумных в Бисетре уже превратилось в сугубо медицинскую проблему.

Однако проблема эта, вне всякого сомнения, была в равной степени и политической. С давних пор уверенность в том, что изоляции подвергаются, наряду с виновными, и невинные люди, а наряду с буйно помешанными люди разумные, была неотъемлемой частью революционной мифологии: “Конечно, в Бисетр заключают преступников, разбойников, людей свирепых и кровожадных... но следует признать и то, что здесь во множестве содержатся жертвы произвола властей, семейной тирании, отцовского деспотизма... В его темницах скрывают людей, нам равных, наших братьев, которые лишены воздуха и видят свет лишь в прорези узких окошек”[19]. Образ Бисетра, тюрьмы невинности, столь же неотвязно преследует воображение публики, как в свое время Бастилия: “Разбойники, учинив резню по тюрьмам, словно одержимые, врываются в больницу Бисетра якобы для того, чтобы освободить нескольких человек, ставших жертвами прежней тирании, каковая пыталась спрятать их среди сумасшедших. Вооруженные бандиты движутся от камеры к камере, задают вопросы каждому из заключенных и, если его сумасшествие очевидно, проходят мимо. Однако один из закованных в цепи узников привлекает внимание их своими осмысленными, разумными речами и горькими жалобами. Разве не позор держать его в железках, наравне с другими сумасшедшими?.. Тут прокатывается по вооруженной толпе бурный ропот, слышатся громкие проклятия по адресу начальника лечебницы; его заставляют объясниться относительно своего поведения”[20]. Во времена Конвента рождается новая навязчивая идея. Бисетр по-прежнему остается неисчерпаемым кладом различных страхов, однако на сей раз в нем видят логово, где затаились подозрительные личности — аристократы, скрывающиеся под лохмотьями бедняков, иностранные агенты, плетущие свой заговор под маской сумасшествия. Безумие опять-таки подлежит

разоблачению — для того чтобы воссиял свет невинности, но вместе с тем была сорвана завеса с двуличия. Таким образом, Бисетр на протяжении всей революции находился как бы в кольце страха, превращающего его в великую, загадочную и пугающую силу, что поселилась на окраинах Парижа, неразрывно сочетая в себе присутствие неразумия и присутствие Врага, а безумие в нем поочередно выполняло две отчуждающие функции:

с одной стороны, оно отчуждало разумного человека, которого признали безумным, но с другой — могло точно так же отчуждать и того, кто мнил, что оно ему не грозит; безумие — это тиран или обманщик, опасный посредник между разумным человеком и безумцем, равно способный отчуждать и того и другого и грозящий утратой свободы им обоим. В любом случае его планы следует расстроить и обличить, с тем чтобы истина и разум вернулись к своему собственному строю и обличью.

Роль, которую сыграл Пинель в этой не до конца ясной ситуации, где реальные обстоятельства тесно переплелись с силами воображаемого, определить не так легко. К своим обязанностям он приступил 25 августа 1793 г. Поскольку его репутация как врача к этому моменту была вполне устойчивой, мы можем предположить, что его назначили в Бисетр именно для того, чтобы он “обличил” безумие, установил его сугубо медицинские параметры, освободил невинных жертв и выдал подозрительных, наконец, чтобы он заложил основы изоляции безумия в самом строгом смысле, необходимость которой — равно как и связанные с нею опасности — сознавали все. Кроме того, Пинель придерживался достаточно республиканских взглядов, а значит, не нужно было опасаться, что он оставит в заключении узников прежнего режима или будет потворствовать людям, подвергшимся преследованиям со стороны режима нового. В каком-то смысле можно сказать, что Пинеля наделили чрезвычайными полномочиями в области морали. В пределах неразумия классической эпохи безумие было вполне совместимо с симуляцией, а внешняя картина безумия нисколько не противоречила безумию объективно установленному и доказанному; напротив, безумие в сущности своей было безусловно причастно к своим иллюзорным формам и скрывающейся под их оболочкой вине. Пинелю суждено будет разорвать эту связь политическими средствами, провести границу, четко очерчивающую некое единство: единство безумия, открытого для дискурсивного познания, единство его объективной истины и невинности. Безумие нужно расчистить из-под наслоений не-бытия — средоточия неразумия, где равно допустимы и не-безумие преследуемое, и не-безумие утаенное, которые при этом не перестают быть безумием.

Каков же, в свете всех этих проблем, смысл освобождения “закованных узников”? Являлось ли оно простым практическим применением идей, сформулированных уже много лет назад и входивших в те программы реорганизации изоляторов, лучшим примером которых может служить проект Кабаниса, предложенный им за год до назначения Пинеля в Бисетр? Снять оковы с сумасшедших, выпустить их из темниц значит открыть перед ними пространство свободы, которая одновременно станет для них проверкой на истинность, позволит им явить себя во всей объективности, не заслоняемой отныне ни преследованиями, ни вспышкой ярости — ответной реакцией на них; это значит создать чистое пространство психиатрической лечебницы, как ее определял Кабанис и какой, по причинам политическим, хотел видеть ее Конвент. Однако с тем же успехом мы можем предполагать, что скрытый смысл политической операции, проделанной Пинелем, был прямо противоположным:

освобождая безумцев, он окончательно смешивал их с остальным населением Бисетра, делал его еще более неразличимым и однородным, уничтожал любые критерии, позволяющие провести границу между разумом и безумием. Ведь, помимо прочего, на протяжении всего этого периода администрации Бисетра постоянно приходилось сопротивляться требованиям политических властей, которые добивались от нее отделения сумасшедших подлинных от сумасшедших мнимых[21]. Так или иначе, Пинеля сместили с должности; в Сальпетриер он был назначен лишь 13 мая 1795 г., много месяцев спустя после Термидора, в период политической разрядки[22].

Скорее всего, мы так и не узнаем, что же имел в виду Пинель, когда решился на освобождение сумасшедших. Да это и не важно; главное состоит именно в неоднозначности, печатью которой будет отмечено продолжение его дела и тот смысл, какой оно приобрело в современном мире: складывается пространство, в границах которого безумие должно явиться в своей ничем не замутненной истине, объективным и в то же время невинным, однако происходит это в модальности идеальной, недостижимо далекой, где каждая из фигур безумия сближается до полной неразличимости и сливается с не-безумием. Чем четче становятся научные очертания безумия, тем слабее оно воздействует на конкретное восприятие; лечебница, призванная помочь ему обрести свою истину, не позволяет отличить эту истину от того, что ею не является. Чем более оно объективно, тем менее очевидно и достоверно. Акт освобождения безумия, призванный удостоверить его подлинность, есть одновременно и жест, скрывающий его и распыляющий по всем конкретным формам разума.

* * *

Творение Тьюка родилось из пересмотра всей системы благотворительности, предпринятого в английском законодательстве конца XVIII в.; творение Пинеля — из двойственности положения, в котором находились умалишенные к началу революции. Однако это ни в коей мере не отменяет их глубокого своеобразия. Деятельность обоих была отмечена какой-то победительной решимостью, которая отчетливо — лишь в слегка видоизмененной форме — отразилась в мифах, сохранивших для нас ее смысл.

Важно, что Тьюк был квакером. Не менее важно и то, что Убежище находилось за городом, в деревне. “Воздух здесь здоровый, гораздо более чистый и менее дымный, нежели в окрестностях промышленных городов”[23]. Окна Дома, на которых нет решеток, выходят в сад; поскольку Дом “расположен на холме, он возвышается над весьма приятным для взора ландшафтом; к югу, до самого горизонта, простирается плодородная лесистая равнина...”. На прилегающих землях процветает земледелие и скотоводство; сад “в изобилии доставляет овощи и фрукты; в то же время для большинства больных он служит приятным местом для отдыха и труда”[24]. Подвижная жизнь на свежем воздухе, регулярные прогулки, работа в саду и на ферме неизменно оказывают на больных благотворное действие “и споспешествуют выздоровлению безумных”. Бывали даже случаи, когда “одно лишь путешествие в Убежище и первые дни отдыха, который довелось больным здесь вкусить, излечивали их”[25]. Все силы воображаемого, сообщающие неотразимую привлекательность простой и счастливой сельской жизни с ее вечной сменой времен года,

сошлись здесь, чтобы своей властью излечивать любые виды безумия. Ибо безумие, согласно идеям XVIII столетия, есть болезнь не природная и не собственно человеческая, но общественная; волнения, постоянная неуверенность, возбуждение, неестественное питание — таковы причины безумия, согласно воззрениям Тьюка, равно как и его современников. Безумие есть результат жизни, уклоняющейся от велений природы, и потому принадлежит к разряду следствий, а не причин; оно не позволяет усомниться в самой сущности человека, которая заключается в его непосредственной причастности природе. Оно сохраняет в неприкосновенности ту природу человека, которая является одновременно и его разумом, как бы превращая ее в позабытую до поры до времени тайну. Случается, что тайна эта вновь становится явной, проступает наружу при странном стечении обстоятельств, словно бы понуждаемая хитростью и обманом и подверженная новым случайным потрясениям. В качестве примера Сэмюэл Тьюк ссылается на молодую женщину, впавшую в состояние “полнейшей идиотии”; на протяжении долгих лет она не знала ремиссий, как вдруг заболела тифом. По мере того как усиливался лихорадочный жар, ум ее прояснялся, становясь все более живым и проницательным; покуда длилась острая стадия заболевания, когда больные обычно бредят, женщина эта, напротив, находилась в здравом уме; она узнавала окружающих, вспоминала события прошлого, которые прежде, казалось, проходили мимо ее внимания. “Но увы! то был лишь проблеск разума, и когда лихорадка стала спадать, ум ее вновь заволокло облаками; она погрузилась в то же достойное жалости состояние, в каком пребывала до болезни, и оставалась в нем до самой смерти, последовавшей несколько лет спустя”[26].

Тьюк описывает действие целого компенсаторного механизма: безумие — это не уничтожение природы, но ее забвение, вернее, перенос из области духовного и умственного в область телесного, отчего слабоумие в известной степени служит гарантией крепкого здоровья; но стоит человеку заболеть, как природа, покинув потрясенное недугом тело, снова проявляет себя в сфере ума, причем отчетливее и чище, чем когда бы то ни было прежде. Поэтому не следует считать “безумных людьми, совершенно лишенными разума”; скорее подобает выяснить, при помощи целого ряда сближений и схождений, каковы те элементы природы, что непременно дремлют под покровом безумия с его возбуждением и буйством; чередование времен года и смена дня и ночи, бескрайняя йоркская равнина, мудрое устройство садов, где соединяются природа и рукотворный порядок, — все это призвано расколдовать спрятавшийся на мгновение разум и постепенно подготовить его к полному пробуждению. Та садово-огородная жизнь, которую принуждены вести больные в Убежище, на первый взгляд зиждется лишь на нерушимом доверии, однако в нее вкралась какая-то магическая операция — природе суждено заставить восторжествовать природу, сближаясь с ней, соприкасаясь и загадочным образом проникая в нее и при этом одновременно ограждая человека от всего противоестественного, что привнесло в него общество. Все эти образы постепенно складываются в миф, который станет одной из главных организующих форм психиатрии XIX в. — миф о трех Природах: Природе-Истине, Природе-Разуме и Природе-Здоровье. Именно в этой системе и протекает процесс отчуждения-сумасшествия и его излечения; и если Природу-Здоровье возможно уничтожить, то Природа-Разум может лишь скрыться, но не исчезнуть, а Природа как Истина мира всегда беспредельно адекватна самой себе; отталкиваясь от нее, можно пробудить и восстановить Природу-Разум, а обладание разумом, совпадающим с истиной, позволяет вернуть человеку и Природу-Здоровье. Именно поэтому Тьюк предпочитал

английскому термину *insane* французское слово „сумасшедший" (*aliene*), каковое дает более верное представление о расстройствах подобного рода, нежели понятия, в той или иной степени подразумевающие, что человек лишился способности мыслить"[27].

В Убежище больной включается в простую диалектику природы — но в то же время становится членом определенной социальной группы. Процесс этот в высшей степени противоречив. В самом деле, Убежище строилось на деньги, собранные по подписке, и должно было функционировать как система страховых мер, наподобие получивших распространение в этот период обществ взаимопомощи; каждый подписчик мог указать конкретного больного, в котором он принимал участие и который поэтому лишь частично оплачивал свой пансион, тогда как прочие должны были платить по обычному тарифу. Убежище — это договорный союз, где совпадающие интересы участников организуются по типу простого открытого общества[28]. Но в то же время оно осмысляет себя в понятиях мифологии патриархальной семьи: оно хочет выглядеть великим братским содружеством больных и надзирателей, подчиняющимся авторитету директоров и администрации. Это семья суровая, не ведающая ни слабости, ни снисходительности, но справедливая, отвечающая великому образу библейской семьи. “Заботы управляющих, пекущихся о благосостоянии больных со рвением, достойным внимательных, но здравомыслящих родителей, окупались во многих случаях почти сыновней привязанностью"[29]. Попав в атмосферу взаимной любви, требовательности и справедливости, больные обретут то покойное счастье и безопасность, которые может дать лишь семья в чистом виде; они станут детьми семьи в ее первоначальном, идеальном состоянии.

В Убежище сближаются и сливаются воедино два главных мифа, с помощью которых XVIII век стремился определить, каков источник общества и в чем истина общественного человека, — договор и семья, осознанные корыстные интересы и естественная привязанность. Оно — одновременно и личная выгода, достижимая через самоотречение, и стихийная любовь, естественно рождающаяся между членами одной семьи; тем самым оно служит своего рода эмоциональной и непосредственной моделью любого общества. Человеческая группа в Убежище сведена к своим первичным, наиболее чистым формам: она призвана вновь включить человека в элементарные общественные отношения, абсолютно такие же, какими они были у истоков общества, т. е. строго обоснованные и строго моральные. Тем самым больной оказывается в точке, где общество только еще начинает выделяться из природы и где оно воплощается в своей ничем не опосредованной истине, которую последующая история человечества неизменно старалась затемнить. Предполагается, что тогда ум помешанного сможет очиститься от всего наносного, привнесенного обществом современным, от искусственности, пустых терзаний, уз и обязательств, чуждых природе.

Таковы силы, образующие миф об Убежище; эти силы покоряют время, опровергают ход истории, возвращают человека к главным его истинам, к незапамятной древности, где он отождествляется с Первочеловеком естественным и Первочеловеком общественным. Дистанция, отделяющая его от этого первобытного существа, исчезла, толща веков, пролегающих между ними, растаяла; и в конечном счете благодаря пребыванию в таком “убежище” сквозь оболочку сумасшествия проступает неотчуждаемый, неподвластный сумасшествию элемент, который есть природа, истина, разум и чистая общественная

мораль. Творение Тьюка, как представлялось, находило для себя основание и объяснение в процессе предшествовавших ему реформ; так оно и было; но одновременно оно заключало в себе разрыв с прошлым и прорыв в будущее, — ибо с момента своего возникновения Убежище было окружено плотным кольцом мифов, которые проникли через него в старинный мир безумия и изоляции. А тем самым прямолинейная граница между разумом и неразумием, которую изоляция проводила простым волевым решением, стирается, уступая место диалектике, развивающейся в пространстве мифа. Для этой диалектики безумие есть отчуждение, а излечение от него — возврат к неотчуждаемому; но главное — изоляция, по крайней мере как она виделась основателям Убежища, впервые наделяется некоей властной силой, благодаря которой в тот самый момент, когда безумие являет себя как отчуждение, и через само это открытие, человек может вернуться к неотчуждаемому. Тем самым в мифологии Убежища выделяется как смутно заложенный в его устройстве воображаемый способ излечивать безумие, так, одновременно, и представление о сущности безумия, которое имплицитно перейдет от XVIII века к XIX:

1. Роль изоляции состоит в том, чтобы свести безумие к его истине.
2. Истина безумия равна ему самому, минус окружающий мир, минус общество, минус все, что идет вразрез с природой.
3. Этой истиной безумия является сам человек в своей простейшей, изначальной неотчуждаемости.
4. Неотчуждаемым началом выступает в человеке единство Природы, Истины и Морали, иными словами, сам Разум.
5. Исцеляющая сила Убежища заключается в том, что оно сводит безумие к истине, которая есть одновременно и истина безумия, и истина человека, к природе, которая есть одновременно природа болезни и безмятежная природа мироздания.

Мы видим, на что мог опереться позитивизм в этой диалектике, где на первый взгляд ничто его не предвещает, ибо она целиком строится на различных типах нравственного опыта, философских идеях, образах человека, рожденных грезой. Но позитивизм станет не чем иным, как сжатием этого процесса, стяжением этого мифологического пространства; с первых своих шагов он будет считать объективным и непреложным фактом, что истина безумия — человеческий разум, а значит, осуществит полный пересмотр классической концепции, согласно которой опыт неразумия в безумии отрицает присутствие в человеке какой-либо истины. Отныне всякое объективное осмысление безумия, всякое познание его, всякая высказанная о нем истина будет разумом как таковым, разумом обретенным и всепобеждающим, т. е. концом отчуждения в сумасшествии.

* * *

В традиционном рассказе об освобождении от оков узников Бисетра есть один пункт, достоверность которого вызывает сомнения: визит Кутона. Не раз подчеркивалось, что он не

мог посещать Бисетр, что его, должно быть, спутали с кем-либо из членов Парижской Коммуны, тоже парализованным, и что увечье в сочетании с мрачной репутацией Кутона стало причиной недоразумения[30]. Мы не будем вдаваться в эту проблему: главное, что недоразумение имело место и дошло до нас и что образ калеки, который в ужасе пятится назад при виде безумцев и бросает “подобных зверей” на произвол судьбы, обрисован так ярко и притягательно. Паралитик, которого несут на руках, бесспорно, является центральным персонажем сцены; поэтому желательно, чтобы этот паралитик был фигурой условно-пугающей, знаменитой своей жестокостью и прославившейся в качестве одного из главных поставщиков жертв для эшафота. А следовательно, именно Кутон посетит Бисетр и на миг предстанет властелином дальнейшей участи безумцев. Этого требует сила и логика воображаемого, заложенная в данной истории.

На самом же деле этот странный рассказ таит в себе решительный разрыв с предшествующей мифологией безумия. Кутон посещает Бисетр, чтобы убедиться: безумцы, которых хочет освободить Пинель, — не какие-нибудь подозрительные личности. Он полагает, что обнаружит затаившийся разум — и сталкивается лицом к лицу с животным началом во всем его нескрываемом буйстве и неистовстве; он отказывается видеть в нем признаки рассудка и притворства; он решает предоставить зверя самому себе, позволить дикой сущности безумия самоуничтожиться. Но вот тут-то и происходит метаморфоза: он, Кутон, паралитик-революционер, калека, рубящий головы направо и налево, заклеянный и своей болезнью, и своими злодеяниями, с того момента, когда он видит в безумцах зверей, воплощает в себе, сам того не ведая, самую чудовищную бесчеловечность. Поэтому-то логика мифа требовала, чтобы именно он, а не кто-либо другой, не столь недужный и не столь жестокий, получил право произнести слова, в которых безумие последний раз в истории западного мира оказалось привязано к своему животному началу. Покидая Бисетр на руках несущих его людей, он полагает, что отдал безумцев на волю таящегося в них зверя, но на самом деле как раз он берет на себя бремя звериности, тогда как безумцы, вскоре выпущенные на свободу, сумеют показать, что отнюдь не лишены главнейших человеческих черт. Словесно обозначив принадлежность безумцев к животному миру и предоставив им прозябать в нем и дальше, он освободил их от звериного начала, зато проявил свое собственное и целиком погрузился в него. Ярость его была более безрассудна, более бесчеловечна, чем безумие помешанных. Таким образом, безумие перешло от узников к тюремщикам; именно те, кто держит безумцев под замком, словно зверей, — они-то и сосредоточивают в себе всю звериную свирепость безумия; именно в них ярится зверь, и животное начало, проявляющееся у слабоумных, — это всего лишь его смутное отражение. Тайна получает разгадку: животное начало присутствовало не в самом животном, а в способе его приручения; суровых условий содержания было достаточно, чтобы в человеке проснулся зверь. Тем самым безумец очищается от животного начала или, во всяком случае, от той его части, куда входит неистовство, хищное насилие, ярость, дикость; на его долю остается быть животным податливым и послушным, не отвечающим насилием на принуждение и дрессуру. Легенда о встрече Кутона и Пинеля повествует об этом очищении; точнее, она свидетельствует, что к моменту ее возникновения это очищение уже было свершившимся фактом.

Когда Кутон уехал, “филантроп не мешкая принялся за дело”; он решает снять цепи и кандалы с двенадцати сумасшедших. Первым был английский капитан, проведенный в оковах,

в темнице Бисетра, сорок лет: “Его считали ужаснейшим из всех сумасшедших... в приступе буйства он ударил одного из служителей наручниками по голове и убил на месте”. Пинель приближается к нему, уговаривает “вести себя разумно и не причинять никому зла”; при таком условии он обещает снять с него цепи и предоставить право гулять во дворе:

“Поверьте моему слову. Ведите себя смирно, положитесь на меня, и я верну вам свободу”. Капитан прислушивается к его словам и спокойно ждет, когда спадут оковы; едва оказавшись на свободе, он стремглав бросается посмотреть на солнечный свет и “воскликает в экстазе: до чего же хорошо!”. Весь первый день вновь обретенной свободы “он бегаёт по госпиталю, спускается и поднимается по лестницам и беспрестанно повторяет: до чего же хорошо!”. Вечером он возвращается обратно в камеру и спокойно ложится спать. “В Бисетре он провел еще два года, и за это время с ним ни разу не случилось буйного припадка; он даже стал приносить в доме некоторую пользу, ибо оказывал определенное влияние на безумных, командовал ими по своему усмотрению и превратился для них в надзирателя”.

Следующий случай упоминается в анналах медицинской агиографии столь же часто: это освобождение солдата Шевинье. Он был пьяница, у которого развилась мания величия и который возомнил себя генералом; но Пинель сумел разглядеть в этом мятущемся человеке “прекрасную натуру”; он развязывает ему руки и объявляет, что берет его себе в услужение и рассчитывает на его верность, которой “хороший хозяин” вправе ожидать от признательного слуги. Свершается чудо; в этой покрытой мраком душе внезапно пробуждается добродетель верного слуги: “Никогда еще в сознании человека не происходило столь внезапного и столь глубокого переворота... едва оказавшись на свободе, он стал внимателен и услужлив”; дурная голова сочетается у него с благородным сердцем, и он сам принимается укрощать и смирять ярость других безумцев вместо своего нового хозяина; он, “вчера еще бывший им ровней, говорил им разумные и добрые слова, ибо теперь ощущал себя выше прочих сумасшедших на целую свою свободу”[31]. В легенде о Пинеле этот добрый слуга до конца остается предан своему господину душой и телом; он заслоняет его собой, когда народ Парижа крушит ворота Бисетра, желая учинить справедливую расправу над “врагами нации”; “он загоразивает его своим телом, словно щитом, и принимает на себя удары, чтобы спасти ему жизнь”.

Итак, оковы падают; безумец на свободе. И в тот же миг он вновь обретает разум. Вернее, нет: в нем являет себя не разум, разум-в-себе и разум-для-себя, но уже сложившиеся социальные виды, которые долго дремали под покровом безумия и которые теперь предстают перед нами сразу и целиком, в полном соответствии со своей сущностью, лишённые каких-либо искажений и не строящие гримас. Можно подумать, что безумец, освобождаясь от животного начала, в пределах которого его насильно удерживали оковы, способен обрести человеческий облик лишь в социальном типе. Первый из освобожденных превращается не просто в здравомыслящего человека, а в английского офицера, капитана, который честен перед своим освободителем, как был бы честен с победителем, удерживавшим его в плену под честное слово, который подчиняет себе других людей и властвует над ними благодаря своему авторитету офицера. Его здоровье восстанавливается лишь на уровне этих социальных ценностей, которые, в свою очередь, служат признаками и конкретными свидетельствами выздоровления. Разум этого англичанина не причастен ни к

познанию, ни к счастью; он заключается не в правильном функционировании умственных способностей; в данном случае разум — это честь. Разум солдата будет заключаться в верности и самопожертвовании; Шевинье становится не разумным человеком, но слугой. Его история содержит примерно те же мифологические значения, что и история Пятницы, состоящего при Робинзоне Крузо; отношения, которые устанавливает Дефо между белым человеком, одиноко затерявшимся в природе, и добрым дикарем, — это не отношения двух равных людей, основанные исключительно на непосредственности и взаимности, но отношения господина и слуги, ума и преданности, силы мудрой и силы необузданной, сознательной храбрости и бездумного героизма; короче, это отношения социальные, наделенные литературным статусом и всеми возможными этическими коэффициентами; будучи переложены на язык природы, они становятся непосредственной истиной этого общества на двоих. Те же ценности присутствуют и в рассказе о солдате Шевинье: он и Пинель — это не два узнающих друг друга разума, но два совершенно определенных персонажа, с самого своего возникновения полностью отвечающие готовым социальным типам и строящие свои отношения в соответствии с заранее заданными структурами. Мы видим, как логика мифа берет верх над психологическим правдоподобием и строго медицинским наблюдением; очевидно, что если лица, освобожденные Пинелем, были и в самом деле безумны, то они не могли выздороветь благодаря одному лишь факту освобождения, и их поведение еще долго должно было отзываться сумасшествием. Но для Пинеля важно не это; главное для него состоит в том, что признаками разума служат социальные типы, кристаллизующиеся на самом раннем этапе — как только с безумцем перестают обращаться как с Чужим, с Животным, т. е. как с фигурой, целиком внеположной человеку и человеческим отношениям. Выздоровление безумца означает для Пинеля его устойчивое совмещение с признанным и одобренным моралью социальным типом.

Итак, важно не само освобождение безумцев от оков — эта мера не раз применялась при различных обстоятельствах уже в XVIII в., в частности, в Сен-Люке; важен миф, который придал смысл этому освобождению, который открыл для безумца выход к разуму, насыщенному социально-нравственной тематикой, образами, давно обрисованными в литературе, и который создал в сфере воображаемого идеал психиатрической лечебницы. Лечебницы, которая будет уже не клеткой для человека, предоставленного собственной дикости, а чем-то вроде республики грез, где сложатся прозрачно-ясные, исполненные добродетели отношения между людьми. Честь, верность, храбрость, самопожертвование царят здесь в чистом виде, обозначая одновременно и идеальные формы общества, и критерии разума. Сила этого мифа в том, что он почти эксплицитно — и потому снова возникает необходимость в присутствии Кутона — противостоит мифам революции, сложившимся и оформившимся после террора: республика Конвента — это республика насилия, страстей, дикости; именно она, сама того не ведая, становится вместилищем всех форм помешательства и неразумия; что же касается республики, стихийно складывающейся в мире безумных, предоставленных собственному буйству, то она полностью очищена от страстей: это прежде всего государство послушания. Кутон символизирует собой ту “дурную свободу”, что пробудила в народе разнузданные страсти и породила тиранию Общественного спасения, — т. е. ту свободу, во имя которой безумцев держат в оковах; Пинель же служит символом “хорошей свободы”, которая, снимая цепи с самых неразумных, самых неукротимых людей, сдерживает их страсти и вводит их самих в спокойный мир традиционных добродетелей. Если выбирать между народом Парижа, вторгающимся в

Бисетр и требующим выдать ему врагов нации, и солдатом Шевинье, спасающим Пинелю жизнь, то вряд ли более помешанным и менее свободным можно счесть человека, прошедшего долгие годы в госпитале за пьянство, бред и необузданный нрав.

Миф о Пинеле, как и миф о Тьюке, имплицитно содержит в себе дискурсивный процесс, который можно рассматривать одновременно и как описание сумасшествия, и как анализ его преодоления:

1. Изоляция классической эпохи не позволяла относиться к безумию иначе, нежели как к нечеловеческому, животному началу, и безумие не могло высказать свою нравственную истину.
2. Как только эта истина получает свободу самовыражения, она проявляется в форме чисто человеческих отношений, исполненных идеальной добродетели: она есть героизм, верность, самопожертвование и пр.
3. Однако безумие есть порок, неистовство, злоба: лишним тому свидетельством служит ярость революционеров.
4. Освобождение безумных в пределах изоляции, являясь воссозданием социума на основе тематики соответствия социальным типам, не может не повлечь за собой их выздоровления.

Миф об Убежище и миф об узниках, освобожденных от оков, соотносятся в каждом пункте, образуя непосредственную противоположность. Первый выводит на передний план все, что связано с темой первобытной простоты, второй пускает в оборот ясные до прозрачности образы общественных добродетелей. Для первого истина безумия и преодоление его заложены в той точке, где человек едва начинает отделять себя от природы; во втором случае они достигаются в рамках своеобразного социального совершенства, идеального функционирования человеческих отношений. Однако эти две темы были в XVIII в. слишком близки, а зачастую и неразделимы и потому не могли иметь у Тьюка и Пинеля принципиально различный смысл. И в том и в другом случае перед нами попытка совместить определенную практику изоляции с великим мифом об отчуждении в сумасшествии, мифом, который несколько лет спустя сформулирует Гегель, чьи теоретические построения суть в прямом смысле результат того, что происходило в Убежище и в Бисетре. “Подлинная психиатрия (*psychische Behandlung*) придерживается поэтому той точки зрения, что помешательство не есть абстрактная потеря рассудка — ни со стороны интеллекта, ни со стороны воли и ее вменяемости, — но только помешательство, только противоречие в еще имеющемся налицо разуме, подобно тому как физическая болезнь не есть абстрактная, т. е. совершенная, потеря здоровья (такая потеря была бы смертью), но лишь противоречием в нем. Это гуманное, т. е. столь же благожелательное, сколь и разумное, обращение с больным... предполагает, что больной есть разумное существо, и в этом предположении имеет твердую опору, руководясь которой можно понять больного именно с этой стороны”[32]. Классическая изоляция породила состояние отчуждения в сумасшествии, существовавшее только для внешнего наблюдателя, только для тех, кто подвергал безумных изоляции и видел в заключенном лишь Чужого или Зверя; Пинель и Тьюк, совершив простые операции, в которых позитивистская психиатрия

парадоксальным образом усмотрела источник своего происхождения, интериоризировали отчуждение, ввели его в пределы изоляции, ограничили его дистанцией, отделяющей безумца от самого себя, и тем самым превратили сумасшествие в миф. О чем же, если не о мифе, можно вести речь, когда теоретический концепт выдается за природу, воссоздание моральных норм — за освобождение истины от скрывавшего ее покрова, а стихийным излечением безумия считается процесс, благодаря которому оно, быть может, всего лишь незаметно вводится в границы искусственно созданной реальности?

* * *

В легенда о Пинеле и Тьюке до нас дошли те мифологические значения, которые для психиатрии XIX в. станут чем-то очевидным и естественным. Однако под оболочкой этих мифов была скрыта некая операция или, вернее, целый ряд операций по организации и упорядочению одновременно и мира психиатрической лечебницы, и методов лечения, и конкретного опыта безумия.

Возьмем для начала детище Тьюка. Всем известно, что создание его лечебницы совпадает по времени с деятельностью Пинеля и вписывается в широкое “филантропическое” движение, а потому это событие обычно трактуют как “освобождение” сумасшедших. Но в действительности речь идет совсем о другом. “Мы могли убедиться, сколь великий урон нанесен был тем членам нашего общества, что были поручены заботам людей, каковые не только не исповедуют наших принципов, но к тому же поместили их «квакеров» вместе с другими больными, позволявшими себе сквернословить и неподобающе себя вести. Все это зачастую оставляет неизгладимый след в умах больных, и они, обретя разум, становятся чужды религиозному чувству, коему прежде были привержены; иногда они даже становятся испорченными людьми и приобретают порочные привычки, прежде им совершенно чуждые”[33]. Убежище, по замыслу, должно послужить орудием сегрегации — сегрегации моральной и религиозной, благодаря которой вокруг безумия создается среда, максимально схожая с общиной квакеров. И на то есть две причины. Первая заключается в том, что картины зла всегда доставляют страдание чувствительной душе и служат источником пагубных и неистовых страстей — таких, как ужас, ненависть, презрение, — которые порождают безумие или укрепляют его: “Тогда явилась нам справедливая мысль о том, что обыкновенное в больших публичных госпиталях смешение людей, питающих разные религиозные чувства и исполняющих разные обряды, смешение развратников и добродетельных, богохульников и людей строгих правил приводило лишь к препятствиям на пути возвращения к разуму и загоняло меланхолию и мизантропические идеи еще больше внутрь”[34]. Но главная причина в другом: в том, что религия способна играть одновременно двоякую роль — роль природы и роль закона; обычаи предков, воспитание, ежедневная практика придали ей глубину природы и сделали постоянно действующим принципом принуждения. Она — вместе и стихийность, и жесткий порядок, и поскольку это так, именно в ней сосредоточены силы, которые только и могут стать противовесом необузданному неистовству безумия, помрачающего разум; “если они [ее предписания] запечатляются в человеке с первых дней его жизни, то они становятся почти принципами его естества; смирительная сила их многократно испытана, даже и во время припадков буйного помешательства. Следует всячески поощрять влияние религиозных принципов на

рассудок сумасшедшего, ибо это весьма важное слагаемое его лечения”[35]. В диалектике сумасшествия-отчуждения, когда разум не уничтожен, но лишь временно утаен, религия выступает конкретной формой для всего неотчуждаемого; она — носительница непобедимого начала в разуме, всего, что живет под бременем безумия как квазиприрода человека, и всего, что окружает безумие как неумолкающий призыв среды: “Когда сознание больного на время проясняется или он идет на поправку, он мог бы находиться в обществе людей одних с ним взглядов и одних привычек”[36]. Религия дает разуму возможность неусыпно следить за безумием, и благодаря ей принуждение, свирепствовавшее уже в классической изоляции, здесь становится еще более непосредственным, еще ближе и теснее охватывает его. В изоляторе религиозная и нравственная среда подступала извне, так что на безумие лишь набрасывали узду, но не лечили его. В Убежище религия включена в процесс, который, невзирая ни на что, указывает на наличие в безумии разума и возвращает сумасшествие к здоровью. Религиозная сегрегация имеет совершенно четкий смысл: дело не в том, чтобы оградить больных от влияния мирян, не-квакеров, а в том, чтобы сумасшедший находился в некоей стихии морали, где ему придется постоянно спорить с самим собой и со своим окружением; в том, чтобы создать для него среду, которая не только не станет для него защитой, но наоборот, будет поддерживать его в состоянии тревоги, под неослабной угрозой Закона и Провинности.

“Принцип страха, каковой при безумии ослабевает редко, считается чрезвычайно важным для лечения безумных”[37]. Страх предстает главным действующим лицом психиатрической лечебницы. Конечно, это фигура далеко не новая — достаточно вспомнить об ужасах, связанных с изоляцией. Однако те ужасы обступали безумие извне, обозначая собой границу между разумом и неразумием и играя сразу на двух силах: на силе бешеного неистовства — обуздывая его, и на силе самого разума — удерживая его на расстоянии; этот страх был сугубо поверхностным. Страх, воцарившийся в Убежище, — всецело внутренний: он направлен от разума к безумию как опосредующий элемент, как напоминание об их общей природе, которая не должна исчезнуть и через которую они могли бы установить между собой связь. Всеохватывающий и всеподавляющий ужас был наиболее зримым признаком отчуждения безумия в классическом мире; теперь же страх наделяется способностью прекращать отчуждение, позволяющей возродить какое-то простейшее, первичное единомыслие между безумцем и разумным человеком. Он призван вновь объединить их и сделать союзниками. Отныне безумие не должно и не будет внушать страх; оно будет испытывать страх, беспомощный и безысходный, и тем самым целиком окажется во власти педагогики здравого смысла, истины и морали.

Сэмюэл Тьюк рассказывает, как принимали в Убежище одного молодого и поразительно сильного маньяка; приступы буйства, случавшиеся у него, вызывали панику среди окружающих и даже среди надзирателей. В Убежище его приводят в кандалах и наручниках, одежда его прикручена к телу веревками. Сразу по прибытии с него снимают все оковы и сажают обедать вместе со зрителями; лихорадочное возбуждение у него сразу проходит; “казалось, внимание его целиком поглощено новым и необычным положением”. Маньяка ведут в его комнату; управляющий обращается к нему с увещанием, объясняет, что дом организован в интересах всех его обитателей, для их наибольшей свободы и наибольшего удобства, что его самого не будут подвергать никакому принуждению, если он не погрешит против принятых в доме правил поведения либо против

общих принципов человеческой морали. Управляющий заверяет, что он, со своей стороны, ничуть не желает прибегать к насильственным мерам, имеющимся в его распоряжении. “Маньяк оказался восприимчив к столь ласковому обращению. Он обещал сдерживать себя сам”. Несколько раз с ним еще случались припадки буйства, когда он вопил и пугал своих товарищей. Управляющий напоминал ему об угрозах и об обещаниях, данных в первый день; если он не успокоится, придется вернуться к прежним жестоким мерам. Возбуждение больного на некоторое время усиливалось, а потом быстро шло на спад. “Тогда он внимательно выслушивал увещевания, исходившие от доброжелателя его. После подобных бесед состояние больного обыкновенно улучшалось на много дней”. Спустя четыре месяца он покидал Убежище совершенно здоровым человеком[38]. Здесь страх обращен к больному непосредственно, не с помощью орудий, а с помощью речей; незачем ограничивать разбушевавшуюся свободу, следует лишь очертить и активизировать в человеке такую область простой ответственности, где любое проявление безумия неизбежно влечет за собой наказание. Тем самым смутное чувство вины, связывавшее прежде проступок и неразумие, как бы смещается; безумец есть человеческое существо, изначально наделенное разумом, и он больше не виновен в своем безумии; но как безумец в пределах своей болезни, за которую он более не несет вины, он должен чувствовать свою ответственность за вызванные ею нарушения моральных и общественных устоев и винить в наказаниях, которым он подвергается, только себя самого. Виновность — это уже не модальность отношений, устанавливающихся между вообще безумцем и вообще разумным человеком; она превращается одновременно и в конкретную форму сосуществования всякого безумца с его надзирателем, и в форму сознания, которая должна присутствовать у сумасшедшего и определять осмысление им своего безумия.

Таким образом, следует пересмотреть значения, традиционно приписываемые деятельности Тьюка: и освобождение сумасшедших, и отказ от принудительных мер, и создание человеческой среды — все это не более чем позднейшие оправдания. Реальные процессы и действия были совершенно иными. На самом деле Тьюк создал психиатрическую лечебницу, в которой свободный ужас безумия оказался подменен тревожной и не имеющей выхода вовне ответственностью; теперь страх царит не по ту сторону тюремных ворот — он свирепствует в самой тюрьме, за крепкой печатью сознания. Вековые страхи, окружавшие фигуру сумасшедшего, Тьюк перенес в самую сердцевину безумия. Да, лечебница больше не санкционирует виновность безумца; зато она делает нечто большее — она эту виновность организует и упорядочивает; она организует ее применительно к безумцу — как его самосознание и не взаимные отношения с надзирателем; она организует ее и применительно к разумному человеку — как сознание другого и терапевтическое вмешательство в существование безумца. Иными словами, эта виновность делает безумца объектом наказания, которое постоянно присутствует в его сознании и в сознании другого; и именно признав за собой статус объекта, поняв свою виновность, безумец может вернуться к сознанию свободного, облеченного ответственностью субъекта, а следовательно, к разуму. Этот процесс — процесс превращения сумасшедшего в объект для другого, посредством которого он обретает свою утраченную свободу, — осуществляется благодаря двум основным понятиям: Труд и Взгляду.

Не нужно забывать, что перед нами мир квакеров, где Божье благословение, дарованное человеку, выражается в наглядных приметах его преуспевания. Труд занимает первую

строчку в перечне “нравственных лекарств”, применяемых в Убежище. Труд как таковой наделен силой принуждения, превосходящей физическое принуждение в любых его формах, ибо распорядок рабочего дня, необходимость сосредоточиться и обязательно достигнуть определенного результата отвлекают больного от пагубной для него свободы ума и вовлекают его в систему ответственности: “Предпочтение, с точки зрения как физической, так и моральной, должно быть отдано регулярному труду... он более всего приятен для больного и сильнее всего противодействует иллюзиям, вызванным болезнью”[39]. Через него человек возвращается в упорядоченный мир божественных предписаний; он подчиняет свою свободу законам реальности, которые одновременно являются и законами морали. Поэтому хотя и нельзя полностью отрицать полезность умственного труда, но при этом следует жестко пресекать любые порывы воображения, которым неизменно сопутствуют различные страсти, желания либо бредовые иллюзии. Напротив, постижение вечных начал природы, более всего согласных с мудростью и благостью Провидения, чрезвычайно эффективно ставит пределы необузданной свободе безумца и указывает ему на формы его собственной ответственности. “Самые полезные из предметов, коим могут предаваться помешанные в уме, суть различные отрасли математики и естественных наук”[40]. В лечебнице труд будет лишен всякого производственного значения; он будет обязательным лишь в качестве сугубо нравственного принципа; ограничение свободы, подчинение порядку, понуждение к ответственности имеют одну-единственную цель: положить конец отчуждению ума, заплутавшего в избыточной свободе, которую физическое принуждение способно ограничить не иначе, как чисто внешне.

Еще более действенным средством, чем труд, является взгляд со стороны, то, что Тьюк называет “потребностью в уважении”: “Этот принцип человеческого ума, безусловно, влияет на наше поведение вообще, причем в весьма значительной степени, вызывая у нас беспокойство, пусть зачастую и неосознанное; действие его проявляется с особенной силой, когда нас вводят в новый круг отношений”[41]. В классической изоляции безумец также был открыт для взгляда другого; но, в сущности, этот взгляд не затрагивал его самого: он лишь скользил по поверхности, улавливая чудовищную внешность безумца, наглядно явленное в нем животное начало; и в нем присутствовала по крайней мере одна форма обоюдности — здоровый человек мог, словно в зеркале, увидеть в безумце возможную кривую собственного падения. Тот взгляд, который для Тьюка становится важнейшей составляющей существования больного в лечебнице, более глубок и в то же время отрицает взаимность. Его задача — попытаться уличить безумца на основании едва уловимых признаков безумия, в тот момент, когда оно тайно наслаивается на разум и только начинает от него отделяться; на такой взгляд безумец не может дать ответа ни в какой форме, ибо он — только его объект, своего рода новоприбывший гость, последний из явившихся в мир разума. У Тьюка был разработан целый церемониал управления безумными посредством взгляда. Он устраивал вечера в английском духе, где каждый из приглашенных должен был вести себя в соответствии со всеми формальными требованиями жизни в обществе, но все общение сводилось к взгляду, подмечающему любую оплошность, любое отклонение от порядка, любую неловкость, которой может выдать себя безумие. Итак, управляющие и смотрители Убежища регулярно приглашают нескольких больных на “tea-parties”, на чашку чаю; гости “облачаются в свои лучшие костюмы и стремятся превзойти один другого в вежливости и знании приличий. Их потчуют лучшими блюдами и обращаются с ними с таким вниманием, как если бы они были иностранцы. Вечер обыкновенно протекает как нельзя более приятно

и в полном согласии. Какие-либо неприятности случаются очень редко. Больные на удивление строго контролируют различные свои наклонности; сцена эта рождает в душе чувство изумления и приятной растроганности"[42]. Любопытно, что этот ритуал отнюдь не предполагает взаимного сближения, диалога, не помогает лучше узнать друг друга; он лишь организует вокруг безумца, рядом с ним, мир, где все ему близко и понятно, но где сам он остается чужим, "иностранцем", Чужим par excellence, о котором судят не только по внешности, но и по тому, что в этой внешности невольно проявляется и выдает себя. Безумец призван постоянно играть пустую, лишенную содержания роль — роль незнакомого гостя, отрицающую все, что может быть известно о нем заранее, выводящую его на поверхность самого себя, превращающую его в социального персонажа, чья форма и маска навязываются ему молча, одним только взглядом; тем самым он призван объективироваться в глазах разумного разума в качестве совершенного иностранца — т. е. такого иностранца, чья инаковость совершенно незаметна. Лишь в этом качестве, ценой полного своего соответствия образу анонима, он получает доступ в общество разумных людей.

Как мы видим, частичная отмена мер физического принуждения[43] была в Убежище составной частью некоего целого, основным элементом которого стало формирование "self-restraint": свобода больного постоянно вовлекается в труд других и открыта для их взгляда, неотступно угрожая ему признанием виновности. Простая негативная операция — уничтожение сковывающих безумие уз и высвобождение его глубинной природы, — оказывается на поверку операцией безусловно позитивной: безумие вводится в систему вознаграждений и наказаний и включается в процессы нравственного сознания. Это — переход из мира Осуждения в мир Суждения. Но вместе с тем создаются предпосылки и для психологии безумия, ибо обращенный на него взгляд других каждый раз заставляет его выйти на поверхность и отрицать все, что в нем скрыто. О нем судят только по поступкам; никого не интересуют его намерения, никто не стремится выведать его тайны. Оно ответственно лишь за видимую часть себя самого — все остальное обрекается на немощь. Отныне безумие существует лишь как зримое бытие. Близость, устанавливаемая в лечебнице, где нет больше ни цепей, ни решеток, отнюдь не способствует взаимному общению: она — всего лишь соседство взгляда, который следит за безумием, подстерегает его, приближает его к себе, чтобы лучше видеть, но неизменно удаляет от себя на еще большую дистанцию, поскольку допускает и признает лишь те значения, которые делают безумие Чужим. Наука о душевных болезнях в том ее виде, в каком она будет развиваться в психиатрических лечебницах, никогда не сможет выйти за пределы наблюдения и классификации. Она не превратится в диалог. По-настоящему она сумеет стать им лишь с того момента, когда психоанализ подвергнет экзорцизму феномен взгляда, основополагающий для лечебницы XIX в., и вытеснит его безмолвные чары властными силами языка. Впрочем, вернее было бы сказать, что психоанализ совместил абсолютный взгляд надзирателя с бесконечно монологичной речью надзираемого — сохраняя тем самым прежнюю структуру не-взаимного взгляда, характерную для лечебницы, но уравновешивая ее новой структурой не обоюдной взаимности — структурой речи, не ведающей ответа.

В понятиях Надзора и Суждения для нас уже проступают черты нового персонажа, который займет в лечебнице XIX в. центральное место. набросок этой фигуры есть у самого Тьюка, в рассказе о маньяке, подверженном приступам безудержного неистовства. Однажды, гуляя вместе с управляющим в саду, он внезапно приходит в состояние возбуждения, отступает

на несколько шагов, хватая огромный камень и, замахнувшись, уже собирается швырнуть им в товарищей. Управляющий останавливается и пристально смотрит больному в глаза; затем приближается к нему на несколько шагов и “решительным голосом приказывает ему бросить камень”; чем ближе он подступает, тем ниже опускается рука больного, и он выпускает камень; “после этого он спокойно позволяет отвести себя в свою комнату”[44]. Родилось нечто такое, что уже не относится к репрессивной системе: власть авторитета. Вплоть до конца XVIII в. мир безумцев был обиталищем лишь абстрактной, безликой власти, державшей их в заточении; и в этих пределах он был пуст, ибо в нем не было ничего, кроме самого безумия; надзиратели нередко назначались из числа больных. Напротив, Тьюк вводит в отношения надзирателей и больных, разума и безумия, некий промежуточный, опосредующий элемент. Теперь пространство, отведенное обществом для сумасшествия, будет плотно населено теми, кто находится “по ту сторону” его и кто воплощает в себе одновременно и авторитет власти, подвергающей его заключению, и строгость разума, выносящего о нем суждение. Надзиратель вторгается в него, не имея ни оружия, ни орудий принуждения, при помощи одного лишь взгляда и слова; он приближается к безумию ничем не защищенным, не тая в себе никакой угрозы, дерзко решившись на ничем не опосредованное, безоглядное столкновение с ним. Однако в действительности он сходится лицом к лицу с безумием не как конкретный человек, но как разумное существо, и тем самым заранее обретает власть над ним, проистекающую от его собственного не-безумия. В свое время победа разума над неразумием достигалась лишь с помощью материальной, физической силы, вследствие чего-то похожего на реальное столкновение. Теперь же битва заранее проиграна: поражение неразумия изначально предопределяется конкретной ситуацией противостояния безумца и небезумца. Отказ от принуждения в лечебницах XIX в. означает не освобождение неразумия, а тот факт, что безумие давно уже обуздано.

С точки зрения этого нового разума, воцарившегося в лечебницах, безумие воплощает в себе уже не абсолютную форму противоречия, но скорее младший человеческий возраст, ту ипостась разума, которая не имеет права на автономное существование и может жить лишь как дичок, привитый к стволу разумного мира. Безумие есть детство. В Убежище все организовано так, чтобы сумасшедшие могли почувствовать себя младшими. Их считают “словно бы детьми, у которых силы бьют через край и которые находят им опасное приложение. Их нужно сразу наказывать и сразу поощрять; все сколько-нибудь отдаленное не производит на них ни малейшего впечатления. К ним следует применить новую систему воспитания, мысли их должны получить новое направление; вначале их нужно подчинить, затем подбодрить, приучить к труду, сделать для них труд привлекательным и приятным”[45]. В рамках права сумасшедшие уже давно рассматривались как младшие по возрасту; но то была лишь правовая ситуация, абстрактным определением которой служило поражение в правах и опекунов, — но не модальность конкретных отношений человека с человеком. У Тьюка положение младших по возрасту превращается для безумцев в стиль существования, а для надзирателей — в модальность их господства. В Убежище постоянно подчеркивается, что сообщество помешанных и надзирателей строится по принципу “большой семьи”. Внешне в такой “семье” больной обретает нормальную и одновременно естественную среду; на самом деле она отчуждает его еще сильнее: если в законодательстве положение младшего, в котором находился безумец, служило для защиты его как правового субъекта, то, превращаясь в форму сосуществования, эта старинная структура целиком и полностью передает его, как субъекта психологического, под власть и

авторитет разумного человека, который приобретает для него конкретные черты взрослого, т. е. одновременно и господствующей над ним силы, и собственной будущей участи.

Семья играет решающую роль в великой перестройке отношений между безумием и разумом, происходившей в конце XVIII в.: это и пространство воображаемого, и реальная общественная структура; именно она служит и отправной, и конечной точкой для деятельности Тьюка. Наделяя семью тем авторитетом, каким обладают первичные, еще не скомпрометированные обществом ценности, Тьюк заставлял ее выступать в роли противоотчуждающего начала; в его мифологии она служила антитезой “среды”, в которой XVIII век видел источник любого безумия. Но одновременно он ввел ее, причем как сугубую реальность, в мир лечебницы, где она выступает истиной и в то же время нормой любых отношений, складывающихся между безумцем и разумным человеком. Тем самым положение младшего, находящегося на попечении семьи, юридический статус, в котором подвергались отчуждению гражданские права помешанного, становится психологической ситуацией, в которой отчуждению подвергается его конкретная свобода. В мире, уготованном безумию теперь, его со всех сторон обнимает то, что, предвосхищая события, можно было бы назвать “отцовским комплексом”. Непосредственно вокруг него, в буржуазной семье оживает авторитет патриарха. Именно этот исторический осадок позднее выведет на свет психоанализ; в созданной им новой мифологии он приобретет смысл рока, которым отмечена вся западная культура, а быть может, и любая цивилизация, — хотя он лишь постепенно осаждался в ней и обрел твердость и прочность совсем недавно, в конце XVIII столетия, когда безумие оказалось дважды отчужденным в пределах семьи: вследствие мифа о патриархальной чистоте, которая кладет конец отчуждению, и благодаря реальной ситуации отчуждения, которая возникает в лечебнице, устроенной по образцу семьи. Отныне — и на период, верхнюю границу которого установить пока невозможно, — любые речи неразумия будут неразрывно связаны с наполовину реальной, наполовину воображаемой диалектикой Семьи. И если прежде неистовство безумцев воспринималось как святотатство или богохульство, то отныне его следует толковать как бесконечно повторяющееся покушение на власть Отца. Тем самым великое и безоглядное противостояние разума и неразумия превратится в современном мире в смутное и упрямое столкновение инстинктов с прочным институтом семьи, в бунт против ее наиболее архаических символов.

Эволюция безумия в мире изоляции странным образом совпадает со сдвигами в базисных общественных институтах. Мы видели, что либеральная экономика стремилась переложить попечение о бедных и больных с плеч государства на плечи семьи: семья тем самым становилась пространством социальной ответственности. Однако если человека больного можно доверить заботам семьи, то человека безумного оставлять в семье нельзя — он слишком ей чужероден, слишком непохож на человека. Тьюк как раз и воспроизводит вокруг безумия искусственным путем семью-симулякр — пародирующую социальный институт, но создающую вполне реальную психологическую ситуацию. Отсутствующую семью он подменяет ее декорацией, складывающейся из знаков и способов поведения. Однако в один прекрасный день произойдет весьма любопытный смысловой сдвиг: семья утратит свою роль благотворительницы и утешительницы применительно к больному вообще, тогда как применительно к безумию все ее фиктивные ценности останутся в силе; и уже после того как помощь больным беднякам вновь станет государственным делом,

помешанный, попав в лечебницу, долгое время будет находиться во власти безусловных требований фиктивной семьи; безумец останется ребенком, и разум еще долго будет представлять перед ним в облике Отца.

Лечебница замкнута на этой системе вымышленных ценностей и потому становится убежищем, укрывающим безумие от исторических процессов и социальной эволюции. По замыслу Тьюка, создаваемая в ней среда должна воспроизводить самые древние, самые чистые, самые естественные формы человеческого сосуществования: это должна быть среда максимально человеческая и максимально лишенная социального начала. На самом же деле он взял социальную структуру буржуазной семьи, символически воссоздал ее в лечебнице и предоставил ей свободно качаться на волнах истории. Психиатрическая больница, неизменно смещенная в направлении анахронических символов и структур, будет пространством по преимуществу внеисторическим и вневременным. Пространством, в котором прежде являло себя не ведающее истории, вечно возвращающееся к самому себе животное начало, а теперь постепенно проступают незапамятные приметы древней ненависти, осквернения семейных святынь, забытые знаки инцеста и кары.

* * *

У Пинеля никакой религиозной сегрегации не было. Или, вернее сказать, сегрегация у него по своей направленности была прямо противоположна той, из которой исходил Тьюк. Блага его обновленной лечебницы доступны всем — почти всем, за исключением фанатиков, “каковые почитают себя боговдохновенными и пытаются и других обратить в свою веру”. В понимании Пинеля, Бисетр и Сальпетриер образуют дополнительный по отношению к Убежищу образ.

Религия должна играть роль не нравственного субстрата больничной жизни, а просто-напросто медицинского объекта: “Религиозные убеждения в госпитале для сумасшедших следует рассматривать лишь с сугубо медицинской точки зрения; иначе говоря, следует избегать любого иного рассмотрения публичных отправлений культа и политики; надо только установить, важно ли для наиболее эффективного лечения некоторых сумасшедших воспротивиться возбуждению мыслей и чувств, кои могут проистекать из этого источника”[46]. Католицизм нередко ведет к безумию, ибо, описывая ужасы загробного мира, служит источником бурных переживаний и пугающих образов; он рождает у людей бредовые убеждения, поощряет галлюцинации, ввергает в отчаяние и меланхолию. Неудивительно, что “когда наводишь справки по учетным спискам госпиталя для сумасшедших Бисетр, обнаруживаешь, что в них значится множество священников и монахов, а равно и деревенских мужиков, лишившихся рассудка из-за ужасающей картины собственной грядущей участи”[47]. Еще менее удивительно, что число безумцев на религиозной почве меняется с течением времени. При Старом режиме и в период революции количество случаев меланхолии религиозного происхождения было весьма значительным — из-за оживления суеверий и ожесточенных столкновений республики с католической церковью. Когда мир восстанавливается и заключение Конкордата кладет конец религиозным борениям, эти формы бреда исчезают; из числа больных меланхолией в Сальпетриере в X году случаи религиозного помешательства составляли 50 %, на

следующий год — 33 %, а в XII году — всего 18 %[48]. Таким образом, в лечебнице не должно быть места религии и всем связанным с нею элементам воображаемого; нужно следить, чтобы у “меланхоликов от благочестия” не оказалось под рукой религиозных книг; опыт показывает, что оставить им книги — “это вернейший способ продлить их сумасшествие или даже сделать его неизлечимым, и чем чаще мы это позволяем, тем труднее нам справляться с их беспокойством и угрызениями совести”[49]. Нет ничего более далекого от мечтаний Тьюка о религиозной общине, которая была бы одновременно и по преимуществу местом излечения умов, чем эта идея абсолютно нейтральной лечебницы, словно бы очищенной от рожденных христианством образов и страстей, которые увлекают ум к заблуждению и иллюзии, грозящим перерасти в бред и галлюцинации.

Однако Пинель имеет в виду только отсечь формы воображаемого, рожденные религией, а вовсе не уничтожить ее нравственное содержание. Религия, очищенная от этого осадка, обладает способностью выводить человека из состояния отчуждения; она рассеивает видения, успокаивает страсти и возвращает человека к его непосредственным, главным началам; через нее он может приблизиться к нравственной истине. В этом и заключается ее целительная сила. Пинель рассказывает несколько историй в вольтеровском духе. Так, например, он упоминает молодую женщину двадцати пяти лет, “крепкого сложения, соединенную брачными узами со слабым, тщедушным мужчиной”; у нее случались “чрезвычайно бурные приступы истерии; она воображала, будто одержима демоном, каковой, по ее словам, принимал самые разные обличья и доносил до ее слуха то птичье пение, то какие-то мрачные звуки, а иногда и пронзительные вопли”. По счастью, местный кюре не столько сведущ в процедуре изгнания дьявола, сколько привержен естественной религии; он верит, что благорасположенность природы приведет больную к выздоровлению; сей “просвещенный человек, наделенный кротким нравом и даром убеждения, приобрел влияние на мысли больной; ему удалось побудить ее подняться с постели, вновь взяться за домашние хлопоты и даже вскопать свой огород... Все это оказало на нее самое благотворное влияние, она излечилась и три года пребывала в добром здравии”[50]. Религия, сведенная к своему простейшему моральному содержанию, непременно будет союзницей философии, медицины, любых форм мудрости и знания, которые способны восстановить разум помешанного. В отдельных случаях религия даже может послужить своего рода предварительным лечением, подготавливая почву для врачевания в условиях больницы; пример тому — юная девушка “с пылким темпераментом, хотя и весьма разумная и благочестивая”, в душе которой “сердечные склонности вступили в борьбу со строгими правилами поведения”; ее исповедник сначала тщетно советует ей прилепиться сердцем к Богу, а затем приводит ей примеры неколебимой и скромной святости, противопоставляя ее душевным порывам “лучшее лекарство против непомерных страстей — терпение и время”. Когда ее препроводили в Сальпетриер, лечение, по указанию Пинеля, проводилось “согласно тем же нравственным принципам”, и болезнь “была недолговременна”[51]. Таким образом, лечебница перенимает не социальную тематику религии, в которой все люди ощущают себя братьями по единому причастию и по единой общине, но нравственную силу доставляемого ею утешения, доверия, кроткого согласия с природой. Задача лечебницы — продолжить моральный труд религии вне ее фантастического текста, исключительно на уровне добродетели, упорной работы и общественной жизни.

Психиатрическая больница есть сфера религиозности без религии, область чистой морали и этического единообразия. Любые приметы, хранящие память о прежних различиях, стираются. Угасают последние воспоминания о сакральном. В свое время изолятор унаследовал в социальном пространстве почти абсолютно непроницаемые границы лепрозория; он был воплощением чужеземности, чужой землей. Теперь же лечебница призвана послужить образом великого всепроникающего единства общественной морали. В ней господствуют семейные и трудовые ценности, это царство общепризнанных добродетелей. Но царство двойственное. Прежде всего, они царят на практике, в сердцевине самого безумия; неистовый беспорядок сумасшествия бурлит на поверхности, не задевая и не нарушая прочной природы основных добродетелей. Существует первичная простейшая мораль, которую обычно неспособен поколебать даже худший из всех видов слабоумия; именно она проявляется и в то же время оказывает свое действие в ходе лечения: “В целом, я могу лишь засвидетельствовать, что при излечении ярко и наглядно проявляются чистые и строгие принципы добродетели. Нигде, разве только в романах, не случилось мне встречать более достойных любви супругов, более нежных отцов и матерей, более страстных влюбленных и более преданных долгу людей, нежели сумасшедшие, кои счастливо достигли периода выздоровления”[52]. Эта неотчуждаемая добродетель есть одновременно истина безумия и сила, его искореняющая. Именно поэтому она царит в лечебнице — и, больше того, непременно будет царить и впредь. Лечебница сгладит любые различия, одолеет пороки, уничтожит отклонения. Она разоблачит все, что создает преграду для торжества основных общественных добродетелей: безбрачие — “в году XI и XIII число девиц, страдающих идиотизмом, было в 7 раз большим, нежели число замужних женщин; среди случаев слабоумия их число больше в два или даже в четыре раза; таким образом, позволительно считать, что замужество есть для женщин своего рода предупредительное средство против этих двух видов сумасшествия, наиболее прочно укореняющихся и чаще всего неизлечимых”[53]; разврат, дурное поведение и “предельную извращенность нравов” — “привычка к пороку, как, например, к пьянству, к безудержному, без всякого разбора женолюбию, к беспорядочному поведению либо к безразличной апатии может постепенно привести разум в полнейший упадок и закончиться выраженным сумасшествием”[54]; лень — “постояннейший и самый распространенный итог опыта — вывод о том, что в любых общественных приютах, равным образом и в тюрьмах и в госпиталях, самым верным и, быть может, единственным средством сохранить здоровье, добрые нравы и порядок является строгое следование правилу механического труда”[55]. Конечная цель лечебницы — установить однородное царство морали, неукоснительно подчиняющей себе любого, кто попытается выйти за ее пределы.

Но тем самым лечебница обнажает известное социальное различие; если торжество закона не всеобъемлюще, значит, есть люди, которые его не признают, есть общественный класс, который живет вне границ порядка, пренебрегая им, т. е. почти на незаконном положении: “С одной стороны, мы видим семьи процветающие, обретающиеся на протяжении долгих лет в лоне порядка и согласия; но сколько есть других семей, прежде всего в низших слоях общества, которые сокрушают взоры наши отвратительным зрелищем разврата, раздоров и постыдного упадка! Именно они, судя по ежедневным моим записям, служат самым изобильным источником сумасшествия, каковое приходится лечить в больницах”[56].

Один и тот же, единый процесс, происходящий в лечебнице, делает ее в руках Пинеля орудием нравственной унификации и социального изобличения. Ее задача — добиться торжества морали как некоего всеобщего начала, внутренне обязательного для тех социальных разновидностей, которые остаются ей чуждыми и в которых сумасшествие присутствует заранее, еще прежде чем проявиться в отдельных личностях. В первом случае лечебница должна действовать как средство пробуждения человека, как память о забытой природе и призыв к ней; во втором она должна произвести определенный социальный сдвиг, чтобы вырвать человека из того положения, в котором он пребывает. Операция, осуществлявшаяся в Убежище, была еще очень простой: она представляла собой религиозную сегрегацию с целью нравственного очищения. Операция, произведенная Пинелем, довольно сложна: ее цель — добиться нравственного синтеза, обеспечить последовательное перенесение этических норм из мира разума в мир безумия, причем проделать это путем общественной сегрегации, гарантирующей буржуазной морали фактически универсальный статус и позволяющей ей стать как бы правовой нормой, обязательной для любых форм сумасшествия.

В классическую эпоху бедность, лень, пороки и безумие несли на себе единую печать вины, пребывая внутри единого пространства неразумия; великая изоляция нищеты и безработицы вобрала в себя безумцев, но из-за близкого соседства с грехом все обитатели изоляторов были как бы продвинуты к сущности грехопадения. Теперь же безумие сродни социальному упадку, который неявным образом выступает его причиной, образцом и конечным пределом. Спустя полвека душевная болезнь превратится в дегенерацию. Отныне главная и реальная угроза безумия исходит из недр общества.

Пинель, в отличие от Тьюка, сделает свою лечебницу не убежищем от окружающего мира, не пространством природы и непосредственной истины, а единообразной сферой права, средоточием моральных синтезов, где сглаживаются любые формы отчуждения-сумасшествия, зарождающиеся на внешних границах общества[57]. Вся жизнь обитателей изолятора, все обращение в них смотрителей и врачей организованы у Пинеля так, чтобы эти моральные синтезы не могли не осуществиться. Этой цели Пинель достигает тремя основными способами:

1. Молчание. Пятым из узников, освобожденных Пинелем от оков, был бывший священник, изгнанный за свое безумие из лона церкви; одержимый манией величия, он воображал себя Христом; то был “верх человеческой спеси и бреда”. В Бисетре он очутился в 1782 г., и к моменту освобождения находился в оковах уже двенадцать лет. Надменные повадки и великое красноречие делают его любимым развлечением всего госпиталя; но он знает, что вновь переживает Страсти Христовы, и потому “терпеливо переносит сию нескончаемую пытку и постоянные насмешки, которым он подвергается из-за своей мании”. Пинель включил его в первую партию освобожденных, в число первых двенадцати узников, несмотря на то что он по-прежнему находился в состоянии острого бреда. Однако с ним он поступает иначе, чем с прочими безумными: не обращается к нему с увещаниями, не требует обещаний; ни слова не говоря, он жестом велит снять с него цепи и “нарочно приказывает всем вести себя так же сдержанно и не разговаривать с бедным сумасшедшим. Этот запрет соблюдался со всей строгостью и произвел на спесивца действие гораздо более чувствительное, нежели кандалы и темница; оказавшись в столь непривычном для себя

одиночестве и бесприютности на фоне полной физической свободы, он почувствовал себя униженным. Наконец, после долгих колебаний он по собственной воле присоединяется к обществу других больных; начиная с этого дня мысли его получают более разумное и более верное направление”[58].

Освобождение приобретает в данном случае парадоксальный смысл. Темница, оковы, зрелище, которое он собой являл, непрекращающиеся насмешки составляли для одержимого бредом больного как бы стихию его свободы. Через нее он был признан, множество союзников завораживали его извне, а потому сдвинуть его с непосредственно данной истины было невозможно. Но когда, лишенный цепей, он сталкивается со всеобщим безразличием и молчанием, это становится для него новым заточением — заточением в тесных границах пустой свободы; молчание отдаёт его во власть непризнанной истины, которую он тщетно будет являть собой, поскольку на него никто не смотрит, и которая не послужит к его прославлению, поскольку она даже не подвергается унижению. Теперь будет унижен сам человек, а не его бредовая проекция: физическое принуждение сменилось свободой, ежеминутно наталкивающейся на границы одиночества; диалог бреда и оскорбления — монологизмом речи, иссякающей в молчании других; выставленные напоказ притязания и унижение — безразличием. С этих пор больной попадает в заточение более реальное, нежели когда он сидел в оковах в темнице, он становится узником не чего-либо, а самого себя и устанавливает с самим собой отношения, лежащие в сфере греха и проступка, а с другими — не-отношения, лежащие в сфере стыда. Вина с других полностью снята — они более не являются преследователями; она переместилась внутрь, в душу безумца, показывая ему, что завораживающей силой были для него лишь собственные притязания; враждебные лица исчезают; он больше не ощущает их присутствия, выраженного во взгляде, он ощущает его как отказ во внимании, как отведенный взгляд; теперь другие для него — всего лишь предел, отступающий все дальше назад по мере его приближения. Освобожденный от оков, он силою молчания прикован к провинности и стыду. Прежде он чувствовал себя наказанным и видел в наказании знак своей невиновности; избавленный от физической кары, он не может не чувствовать себя виноватым. Мученичество несло ему славу; освобождение должно его унижить.

По сравнению с непрекращающимся диалогом разума и безумия в эпоху Ренессанса классическая изоляция была царством молчания. Но не полного молчания: язык реально не уничтожался, но скорее оказывался вовлеченным в мир вещей. Благодаря изоляции, тюрьмам, камерам, даже пыткам между разумом и неразумием завязывался бессловесный диалог — диалог борьбы. Отныне и этот диалог окончен; воцаряется абсолютное молчание; у безумия и разума больше нет общего языка; ответом на язык бреда может быть лишь полное отсутствие языка, поскольку бред — это не фрагмент диалога с разумом, это вообще не язык; для сознания, впавшего наконец в немоту, он не отправляет ни к чему, кроме проступка и греха. И только это может стать отправной точкой для возникновения нового общего языка — постольку, поскольку он станет языком признания вины. “Наконец, после долгих колебаний он по собственной воле присоединяется к обществу других больных...” Коррелятом отсутствия языка — основополагающей структуры больничной жизни — является рождение признания. Надо ли удивляться тому, что когда Фрейд в рамках психоанализа станет осторожно восстанавливать коммуникативные связи или, вернее, вновь начнет вслушиваться в этот распадающийся в нескончаемом монологе язык, то

единственными оформленными речами, которые он сможет услышать, будут признания в совершенном проступке? Непрерывно длящееся молчание позволило проступку завладеть самими истоками языка.

2. Узнавание себя в зеркале. В Убежище безумец постоянно находился под взглядом другого и знал, что на него смотрят; однако безумие не имело непосредственной власти над собой — направленный на него прямой взгляд позволял ему самому видеть себя не иначе, как боковым зрением. Напротив, у Пинеля взгляд будет действенным только внутри пространства, заданного безумием, не имеющего ни внешней поверхности, ни внешних границ. Оно будет видеть само себя, оно будет видимым для самого себя: превратится в чистый объект-зрелище и в абсолютный субъект.

“Однажды трое сумасшедших, каждый из которых мнил себя государем и присваивал себе титул Людовика XVI, начинают оспаривать друг у друга право называться королем и доказывают его в весьма энергической форме. Смотрительница приближается к одному из них и, отводя его в сторонку, говорит: “Для чего спорите вы с этими людьми? Ведь они явно не в своем уме. Разве мы не знаем, что именно вас должно признать Людовиком XVI?” Польщенный этим признанием своих прав, сумасшедший немедленно удаляется прочь, смерив двух других надменно-презрительным взором. Та же уловка удастся и со вторым сумасшедшим. И в единый миг от жаркого спора не остается и следа”[59]. Перед нами первый момент операции — возвеличение. Безумие призывают взглянуть в себя — но в других людях; в них оно предстает как необоснованное притязание, т. е. как смешное и ничтожное безумие; но при этом, обратив на других осуждающий взор, безумец обретает в нем для себя оправдание и уверенность, что сам он в своем бреде остается адекватен реальности. Зазор между притязанием и реальностью распознается лишь в объекте. У субъекта он, наоборот, совершенно неразличим, и именно субъект играет роль непосредственной истины и абсолютного судьи: возвеличение царственности в субъекте позволяет ему разоблачить ложную царственность в других, лишит их ее и тем самым утвердиться в безупречной полноте собственных притязаний. Безумие как простой бред проецируется на других; но как совершенная неосознанность — целиком принимается на себя.

Именно в этот момент зеркало из союзника становится демистифицирующей силой. Еще один больной в Бисетре, также считавший себя королем, неизменно изъяснялся “в крайне властном и повелительном тоне”. Однажды, когда он был в более мирном расположении духа, смотритель подходит к нему и спрашивает, отчего он, будучи государем, не положит конец своему заточению и почему он не избавится от общества всякого рода сумасшедших. Возвращаясь к своим словам и в последующие дни, “он постепенно раскрывает перед ним всю смехотворность его преувеличенных притязаний, показывает ему другого сумасшедшего, также убежденного с давних пор, что он наделен верховной властью, и ставшего предметом всеобщих насмешек. Поначалу маньяк чувствует смущение, вскоре он начинает сомневаться в своем королевском титуле, и наконец ему удается признать свои заблуждения и химеры. Столь неожиданная нравственная революция свершилась на протяжении двух недель, и по истечении нескольких месяцев испытательного срока почтительный отец был возвращен в лоно семьи”[60]. Итак, наконец наступает стадия снижения: безумец, отождествляющий себя в своих притязаниях с объектом бреда, словно в

зеркале, узнает себя в том самом безумии, чьи смешные претензии он сам разоблачил; неколебимая царственность, которой он обладал как субъект, рушится в объекте, который он принял на себя и тем самым демистифицировал. Теперь его безжалостный взгляд направлен на самого себя. И в молчании тех, кто воплощает в себе разум и кто лишь протягивает ему грозное зеркало, он признает себя объективно безумным.

Мы видели, какими средствами — и с помощью каких мистификаций — терапевтическая наука XVIII в. пыталась убедить безумца в его безумии и тем самым избавить от него[61]. Процесс, происходящий в лечебнице Пинеля, имеет совершенно иную природу; он не имеет целью развеять заблуждение с помощью величественного зрелища истины — пусть даже и мнимой; речь идет о том, чтобы поразить безумие в его высокомерных претензиях, — заблуждения его отходят на второй план. Мысль классической эпохи осуждала безумие как известную слепоту в отношении истины; начиная с Пинеля в нем будут видеть скорее некий подъем, выброс из глубин, который, выплескиваясь за пределы личности как правового субъекта и презирая поставленные ей нравственные ограничения, стремится стать апофеозом самого себя. Для XIX в. исходная модель всякого безумия будет состоять в том, чтобы почитать себя Богом, тогда как в предыдущие столетия она состояла в отрицании Бога. Таким образом, безумие может обрести спасение через созерцание самого себя как униженного неразумия, в тот момент, когда, попав в ловушку собственного бреда с его абсолютной субъективностью, оно внезапно увидит ее ничтожное и объективное отражение в совершенно таком же безумце. словно бы хитростью — а не силой, как в XVIII в., — истина просачивается во взаимный обмен взглядами, где она неизменно видит одну лишь себя. Но зеркала в лечебнице, в этом сообществе безумцев, расставлены таким образом, что безумец в конечном счете не может не увидеть в них, даже и помимо своей воли, самого себя — как безумца. Освободившись от оков, превращавших его в чистый объект, всегда открытый для взгляда, безумие парадоксальным образом лишается главной составляющей своей свободы — одинокого самовосхваления; оно становится ответственным за известную ему истину о самом себе; оно делается узником собственного взгляда, бесконечно возвращающего его к себе самому; в конечном счете оно, словно цепью, приковано к унижительному положению объекта-для-себя. Теперь его самосознание неотделимо от стыда за свое тождество с другим, за свою скомпрометированность в нем, за презрение к самому себе, возникшее раньше, нежели возможность узнать и познать себя.

3. Бесконечно длящийся суд. Атмосфера молчания и игра зеркальных отражений неуклонно понуждают безумие к самооценке. Но помимо этого оно ежеминутно оценивается извне; над ним вершит суд не нравственное или научное сознание, но какой-то незримый, непрерывно заседающий трибунал. Психиатрическая лечебница, о которой мечтает Пинель и воплощением которой отчасти стал под его началом Бисетр и особенно Сальпетриер, — это юридический микрокосм. Для того чтобы подобное правосудие было действенным, оно должно иметь устрашающий облик; перед умственным взором помешанного должен присутствовать весь воображаемый арсенал судьи и палача, чтобы он понимал, что целиком находится во власти судебного универсума. Таким образом, лечение будет включать в себя и выход на сцену правосудия во всей его ужасающей неумолимости. У одного из больных в Бисетре религиозный бред развился на почве панического ужаса перед адом; он полагал, будто избежать вечного проклятия ему удастся лишь ценой

сурового воздержания. Нужно было вытеснить этот страх перед удаленным во времени правосудием, явив перед безумцем правосудие сиюминутное, непосредственное и еще более грозное: “Возможно ли было найти иной противовес для неуклонного течения мрачных его мыслей, нежели впечатление сильнейшего и глубокого страха?” Однажды вечером управляющий вырастает в дверях комнаты больного, “облаченный так, чтобы повергнуть его в ужас, с горящим взором и громовым голосом, в окружении толпы прислужников, вооруженных крепкими и громко бряцающими цепями. Перед сумасшедшим ставят суп и отдают строжайший приказ съесть его в течение ночи, если он не желает, чтобы с ним обошлись самым жестоким образом. После этого все удаляются, оставив помешанного в самых тягостных колебаниях между мыслью о грозящем ему наказании и устрашающей перспективой загробных мук. После долгих часов душевной борьбы первая мысль в нем берет верх, и он решается принять пищу”[62].

Психиатрическая лечебница как судебная инстанция не признает никакого иного суда. Ее приговор выносится немедленно и обжалованию не подлежит. В ее распоряжении имеются собственные орудия наказания, и она использует их по своему усмотрению. В старину изоляция чаще всего осуществлялась помимо нормальных юридических форм и процедур; но в ней воспроизводились те же наказания, которым подвергали осужденных преступников, — те же тюрьмы, те же темницы, те же меры физического принуждения. Правосудие, царящее в лечебнице Пинеля, не заимствует репрессивных методов у другого правосудия — оно изобретает свои. Или, точнее, использует терапевтические методы, распространенные в XVIII в., превращая их в карательные меры. Мы наблюдаем не последний из парадоксов “филантропической” и “освободительной” деятельности Пинеля: медицина здесь преобразуется в правосудие, а терапия — в репрессии. В медицине классической эпохи ванны и души применялись как лекарственные средства — в соответствии с фантазиями врачей относительно природы нервной системы: они служили для охлаждения организма, для расслабления иссушенных жаром фибр[63]; правда, в числе благодетельных последствий применения холодного душа значился и психологический эффект — эффект неприятной неожиданности, прерывающей привычный ход мыслей и изменяющей природу чувств; но все это пока лишь мечтания на почве медицины. У Пинеля душ используется в откровенно карательных, судебных целях; это обычное наказание, налагаемое постоянно заседающим в лечебнице общегражданским судом: “Как репрессивная мера они зачастую бывают достаточны, чтобы подчинить общему правилу ручного труда способную к нему сумасшедшую, чтобы преодолеть упорный отказ от пищи либо обуздать помешанных в уме женщин, одержимых чем-то вроде непоседливого и взбалмошного упрямства”[64].

Все в лечебнице организовано так, чтобы безумец осознал себя в мире суда, обступающем его со всех сторон; он должен знать, что за ним постоянно надзирают, что его судят и выносят ему приговор; связь между проступком и наказанием должна быть прямой и очевидной, как общепризнанная вина: “Пользуясь случаем, когда больная принимает ванну, ей напоминают о совершенной ошибке или о неисполнении какой-либо важной обязанности и с помощью крана неожиданно пускают на голову струю холодной воды, что зачастую приводит больную в растерянность или отвлекает ее от навязчивой идеи благодаря сильному и внезапному впечатлению; если она упорствует, душ повторяют, но при этом

стараятся избегать сурового тона либо оскорбительных выражений, которые могут вызвать протест; напротив, ей внушают, что к этим насильственным мерам приходится прибегать для ее же блага и все сожалеют о них; иногда можно добавить сюда и долю шутки, следя, чтобы она не зашла слишком далеко"[65]. Все это — наказание, очевидное, как дважды два, повторение кары по мере необходимости, признание проступка через применение соответствующей репрессивной меры, — должно в конечном счете привести к интериоризации судебной инстанции и к зарождению угрызений совести в уме больного: только когда такой момент наступает, судьи соглашаются прекратить наказание, уверенные в том, что оно получит бесконечное продолжение в сознании безумца. Одна одержимая манией женщина имела обыкновение разрывать на себе одежду и бить любые предметы, находящиеся в пределах ее досягаемости; ей прописывают душ, надевают на нее смирительную фуфайку; наконец она, по всей видимости, “унижена и напугана”; однако, опасаясь, как бы ее стыд не оказался преходящим, а угрызения совести — слишком поверхностными, “управляющий, дабы запечатлеть в ней чувство страха, разговаривает с нею весьма решительно и строго, но без гнева, и объявляет, что отныне с ней будут обращаться с величайшей суровостью”. Искомый результат достигнут незамедлительно: “Раскаяние ее выражает себя в потоке слез, проливаемых в течение более чем двух часов”[66]. Цикл завершен в обоих отношениях: проступок наказан, а человек, совершивший его, признает себя виноватым.

Однако встречаются и такие сумасшедшие, которые ускользают от воздействия этого процесса и противятся нравственному синтезу, осуществляемому в его ходе. Этим больных подвергают заключению внутри самой лечебницы: они образуют новое племя изолированных, племя людей, не подлежащих даже суду. Исследователи, пишущие о Пинеле и его освободительной деятельности, слишком часто упускают из виду это вторичное заключение умалишенных. Мы уже видели, что в благах проведенной Пинелем больничной реформы было отказано “святошам, которые почитают себя боговдохновенными и пытаются и других обратить в свою веру и которым доставляет удовольствие коварно подстрекать других сумасшедших женщин к неповиновению под тем предлогом, что лучше покоряться Богу, нежели людям”. Однако заточению в темнице подвергаются в обязательном порядке как “те женщины, коих невозможно подчинить общему для всех закону труда и которые, без усталости строя козни, любят докучать другим сумасшедшим, провоцировать их и непрестанно сеять семена раздора”, так и равным образом те, “у коих во время приступов возникает неодолимая тяга красть все, что подворачивается им под руку”[67]. Три величайших преступления против буржуазных обществ, три самых злостных покушения на его основополагающие ценности — непослушание из религиозного фанатизма, сопротивление труду и воровство — непростительны даже для безумия; они заслуживают просто-напросто тюремного заключения, строжайшего отделения от общества, ибо в них воплощается сопротивление той социально-нравственной унификации, которая, по замыслу Пинеля, и составляет смысл существования психиатрической лечебницы.

Прежде неразумие не подлежало суду, ибо целиком находилось в незаконной власти разума. Теперь его судят — причем не единожды, при поступлении в лечебницу, когда его распознают, классифицируют и навсегда снимают с него вину, но, напротив, постоянно и бесконечно: суд без усталости преследует его, налагая свои санкции, громогласно возвещая о

его проступках, требуя покаяния и, наконец, исключения всех, кто своими проступками способен запятнать самые основы общественного порядка. Уйдя от беззакония, безумие оказалось обвиняемым на своего рода нескончаемом судебном процессе, для которого лечебница поставляет и стражников, и следователей, и судей, и палачей; процессе, в ходе которого благодаря особенностям существования в лечебнице любой житейский проступок превращается в преступление против общества, подлежащее надзору, осуждению и наказанию; процессе, который может разрешиться, лишь бесконечно возобновляясь внутри человека в форме угрызений совести. Безумец, “освобожденный” Пинелем, равно как и безумец сегодняшний, содержащийся в современной психиатрической больнице, — это обвиняемые на процессе; они имеют то преимущество, что никто больше не смешивает их с преступниками и не уподобляет осужденным, — зато они приговорены ежеминутно находиться под ударом обвинительного заключения, текст которого никогда заранее не известен, ибо его формулирует вся их больничная жизнь. Лечебница эпохи позитивизма, заслуга создания которой приписывается Пинелю, — это не пространство свободы, где наблюдают больных, ставят им диагноз и проводят терапию; это пространство правосудия, где человека обвиняют, судят и выносят ему приговор и где освобождение достигается лишь через перенос судебного процесса в глубины собственной психологии, т. е. через раскаяние. В лечебнице безумие будет наказано — пусть даже вне лечебницы оно становится невинным. Отныне безумие надолго, во всяком случае до наших дней, заточено в тюрьму морали.

* * *

Кроме молчания, узнавания себя в зеркале и бесконечно длящегося суда для мира лечебницы, в том его виде, какой он приобрел в конце XVIII в., характерна еще одна, четвертая структура: апофеоз фигуры врача. По своему значению она, по-видимому, является наиболее важной: именно на ее основе вскоре сложатся не только новые отношения между врачом и больным, но и новые взаимосвязи между сумасшествием и медицинской мыслью; в конечном счете именно ею будет задан и предопределен весь современный опыт безумия. До сих пор психиатрическая лечебница лишь воспроизводила, в смещенном и деформированном виде, структуры изоляции. С возникновением нового статуса врача изоляция утрачивает свой самый глубинный смысл: именно тогда становится возможной душевная болезнь во всей совокупности значений, которые известны сейчас.

Деятельность Тьюка и Пинеля, совершенно различные по духу и провозглашаемым ценностям, смыкаются в том, что касается этого переосмысления фигуры врача. В жизни изолятора, как мы видели, врачу не было места. В психиатрической же лечебнице он становится центральной фигурой. Он направляет больного в лечебницу. В Уставе Убежища специально уточняется: “Что касается приема больных, то комитет, как правило, должен потребовать справку за подписью врача... Следует также установить, не страдает ли больной, помимо безумия, каким-либо иным расстройством. Желательно также, чтобы приложено было отношение, где бы указывалось, как давно болен данный субъект, а за неимением этих сведений — какие медикаменты использовались для его лечения”[68]. С конца XVIII в. медицинская справка стала более или менее обязательным документом при изоляции безумных[69]. Но врач занимает главенствующее положение и в пределах самой

лечебницы — постольку, поскольку именно он превращает ее в медицинское пространство. Однако же — и в этом вся суть — врач вторгается в пространство больницы не в силу своих знаний и не благодаря власти медицины, которая была бы воплощена в нем самом и подтверждена всей совокупностью объективного научного знания. Homo medicus пользуется в лечебнице авторитетом не как ученый, но как мудрец. Профессия врача требуется лишь в качестве юридической и нравственной гарантии, а не потому, что возникает необходимость в науке[70]. Его место вполне мог бы занять человек высокосоциальный, обладающий непогрешимой добродетелью и при этом имеющий длительный опыт службы в лечебнице[71]. Ибо медицинский труд есть лишь часть той громадной нравственной задачи, которую необходимо решить в лечебнице, чтобы обеспечить излечение помешанного: “Незыблемым законом управления всяким общественным либо частным заведением для сумасшедших должно стать предоставление маньяку самой широкой свободы, какую только допускает его личная безопасность либо безопасность других, точное соотношение репрессивных мер с большей или меньшей серьезностью либо опасностью его отклонений от нормы... сбор всех возможных сведений, которые могут помочь врачу назначить правильное лечение, тщательное изучение частных разновидностей в нравах и темпераментах и наконец, уместное применение мягкого либо сурового обращения, мирных его форм либо внушительного и властного тона и неумолимой строгости”[72]. Если верить Сэмюэлю Тьюку, первый врач, принятый на работу в Убежище, отличался “неутомимостью и упорством”; судя по всему, он не имел никаких специальных познаний в области душевных болезней, когда начинал свою деятельность, однако обладал “чувствительным умом и прекрасно понимал, что от его умения зависят драгоценнейшие интересы его ближних”. Он попробовал применять различные лекарства, опираясь на собственный здравый смысл и опыт предшественников, но его постигло скорое разочарование: дело было даже не в том, что результаты его трудов оказались плохи или что число вылеченных им больных было минимальным: “Сами медицинские средства были настолько плохо согласованы с ходом выздоровления, что он поневоле стал подозревать, а не являются ли они скорее сопутствующими излечению моментами, чем его причиной”[73]. Тогда он понял, что действовать с помощью известных доселе методов медицины было почти бесполезно. В нем возобладала человечность, и он решил не применять лекарственных средств, если они были слишком неприятны больному. Но не нужно думать, что врач не играл в Убежище почти никакой роли: благодаря регулярным визитам, которые он наносит больным, благодаря авторитету, которым он пользуется в учреждении и который возвышает его над всеми надзирателями и смотрителями, “врач оказывает на ум больных влияние более значительное, нежели все остальные люди, коим поручен уход за ними”[74].

Считается, что Тьюк и Пинель открыли медицинской науке доступ в психиатрическую лечебницу. Однако они ввели в лечебницу не науку как таковую, а определенного персонажа — носителя сил, заимствующих у науки всего лишь ее внешнюю оболочку либо, самое большее, свое оправдание. По своей природе силы эти — социально-нравственного порядка; источником их служит то положение младшего в семье, которое занимает безумец: отчуждение его личности, но не его ума. Врач способен очертить границы безумия не потому, что обладает знанием о нем, а потому, что может его обуздать; позитивизм будет воспринимать как объективность всего лишь другую сторону, противоположный скат этого превосходства медика над больным. “Чрезвычайно важно завоевать доверие этих убогих и пробудить в них чувство почтения и послушания, что может воспоследовать лишь

благодаря преимуществу рассудительности, утонченного воспитания и глубокого достоинства в голосе и манере держаться. Глупость, невежество и беспринципность, подкрепленные тиранической жестокостью, могут вызвать страх, но всегда внушают к себе презрение. Смотритель приюта для сумасшедших, сумевший приобрести влияние на них, направляет их поведение и распоряжается им по своему усмотрению; он должен обладать сильным характером и уметь при случае выказать свое могущество со всею внушительностью. Угрожать должен он не часто, но обязательно исполняя угрозы, и если его послушают, наказание должно последовать немедленно"[75]. Врач мог пользоваться абсолютной властью над больничным миром лишь постольку, поскольку он изначально был Отцом и Судьей, Семей и Законом, а его медицинская практика с давних пор служила лишь комментарием к старинным ритуалам Порядка, Власти и Наказания. И Пинель прекрасно сознает, что врач исцеляет лишь тогда, когда помимо современных терапевтических средств использует эти восходящие к незапамятным временам образы и фигуры.

Он приводит случай, когда семнадцатилетняя девушка, воспитанная родителями "в крайнем попустительстве", впала в какой-то "веселый, беззаботный бред, причину которого никак не удавалось установить"; в госпитале с ней обращались чрезвычайно ласково; однако она неизменно сохраняла несколько "надменное выражение лица", недопустимое в лечебнице; о своих родителях она говорила "только с досадой". Ее решают подвергнуть режиму неукоснительного послушания; "смотритель, дабы усмирить сей неподатливый характер, пользуется моментом, когда больная принимает ванну, и весьма решительно высказывается против некоторых людей, чья извращенная природа позволяет им дерзко восставать против воли родителей и не признавать их авторитета. Он предупреждает, что отныне с ней будут обращаться так строго, как она того заслуживает, ибо она сама противится излечению и с неодолимым упорством скрывает первопричину своей болезни". Столкнувшись с этой необычной суровостью и угрозой, больная "чувствует глубокое волнение... в конце концов она раскаивается в своих ошибках и простодушно сознается, что впала в помрачение рассудка вследствие сердечной склонности, которой воспротивились родители, и называет предмет этой склонности". Вылечить ее после этого первого признания не составляет труда: "В ней произошла самая благоприятная перемена... отныне она испытывает умиротворение и не находит слов, чтобы выразить свою признательность смотрителю, который положил конец постоянно терзавшему ее возбуждению и вернул в ее сердце мир и покой". В этом рассказе нет ни одной детали, которую нельзя было бы изложить в понятиях психоанализа: лишнее подтверждение тому, что врач, согласно Пинелю, должен действовать, исходя не из объективного определения болезни или из конкретного классифицирующего ее диагноза, но опираясь на те чары и тот престиж, которыми окружены тайны Семьи, Власти, Наказания и Любви; играя на этом престиже, надевая маску Отца и Судьи, врач как бы внезапно сокращает дистанцию, оставляет в стороне свою компетентность в медицине и производит исцеление едва ли не по волшебству, превращается в чудотворца; от одного его взгляда и слова выходят на свет тайные провинности, исчезают бессмысленные притязания, и безумие в конце концов подчиняется порядку, установленному разумом. Присутствие врача и его речь обладают способностью преодолевать отчуждение, т. е. одновременно и обнаруживать проступок, и восстанавливать нравственные устои.

Любопытный парадокс: как раз в тот момент, когда познание душевной болезни стремится обрести позитивный смысл, медицинская практика, как мы видим, вступает в зыбкую область квазичуда. С одной стороны, безумие дистанцируется в некоем пространстве объективности, где все угрозы, которые несло в себе неразумие, исчезают; но в то же время безумец и врач постепенно образуют некое единство, составляют неразделимую пару; это союзники, связанные между собой древнейшими формами причастности друг другу. Больничный образ жизни, созданный Тьюком и Пинелем, был предпосылкой этой тонкой структуры, которая станет главной клеточкой безумия — структуры, образующей как бы символический микрокосм, где находят отражение мощные структуры буржуазного общества и его ценностей: отношения Семья-Дети, строящиеся вокруг темы отцовской власти и авторитета; отношения Проступок-Наказание, строящиеся вокруг темы немедленного, сиюминутного правосудия; отношения Безумие-Беспорядок, строящиеся вокруг темы социально-нравственного порядка. Именно отсюда черпает врач свою целительную силу; и именно в той мере, в какой больной через множество древних уз оказывается заранее отчужден в фигуре врача, внутри пары врач-больной, врач и обладает почти чудесной способностью возвращать здоровье.

Во времена Пинеля и Тьюка в этой способности не было ничего необычайного; она объяснялась и обосновывалась единственно действительностью нравственных норм поведения; она была не более загадочной, чем способность врача XVIII в. излечивать, разжижая флюиды или расслабляя фибры. Но очень скоро и постольку, поскольку врач замыкал свое знание о болезни в пределах норм позитивизма, смысл этой нравственной практики ускользнул от него: уже в начале XIX в. психиатр не вполне понимал, какова природа той исцеляющей силы, которую он унаследовал от великих реформаторов и действие которой казалось ему совершенно чуждым сложившемуся у него представлению о душевной болезни и не отвечающим практике всех остальных врачей.

Плотная завеса тайны, сгустившаяся вокруг психиатрической практики и сделавшая ее непрозрачной даже для тех, кто ее применял, возникла во многом благодаря странному положению, которое занимал теперь безумец в мире медицины. Во-первых, медицина умственной и душевной деятельности впервые в истории западной науки получила почти полную автономию; со времен древних греков она была всего лишь одним из разделов медицины — Виллизий, как мы видели, рассматривал различные виды безумия под рубрикой “болезни головы”; после Пинеля и Тьюка психиатрия станет особой отраслью медицины, обладающей совершенно особой стилистикой: влияния этой стилистики не сумеют избежать даже те, кто наиболее рьяно искал природу безумия в органических причинах или в наследственной предрасположенности. Больше того, они тем сильнее будут испытывать влияние этого стиля, основанного на игре все более и более неясных нравственных сил, что стиль этот превратится для них в источник своего рода нечистой совести; они тем упорнее будут замыкаться в позитивизме, чем явственнее будут ощущать, что на практике все дальше уходят от него.

По мере того как позитивизм подчиняет себе медицину и в особенности психиатрию, практика эта становится все более непонятной, целительная сила психиатра — все более таинственной и чудесной, а пара врач-больной все глубже погружается в странный мир. В глазах больного врач делается чудотворцем; кажется, что власть и авторитет, которые

прежде он заимствовал у порядка, морали, семьи, теперь сосредоточены в нем самом; считается, что он облечен этой властью именно постольку, поскольку он — врач, и если Пинель, наряду с Тьюком, не раз подчеркивал, что оказываемое им нравственное воздействие совсем не обязательно связано с научной компетентностью, то теперь все, и прежде всего больной, будут полагать, что свою способность исцелять от сумасшествия он почерпнул только в своем эзотерическом знании, в какой-то едва ли не сатанинской тайне науки. Больной будет изъявлять все большую готовность целиком отдать себя в руки врача, божественного и демонического, во всяком случае, превосходящего обычную человеческую меру; он все больше будет отчуждаться в нем, принимая заранее и сразу все его властные чары, изначально подчиняясь чужой воле, которая в его восприятии становится магической, и науке, которую он полагает предшественницей знания, божественным откровением, — и тем самым превратится в конце концов в идеальный и совершенный коррелят тех сил, что он проецирует на врача, в чистый объект, неспособный к иному сопротивлению, кроме сопротивления собственной инертности, и совершенно готовый предстать в облике той самой истерички, на примере которой Шарко славил чудесное могущество врача. Если бы мы захотели проанализировать глубинные структуры объективности в научном познании и в практике психиатрии XIX в. от Пинеля до Фрейда[76], нам как раз и нужно было бы показать, что эта объективность изначально является овеществлением, магическим по своему характеру и происходящим только при участии самого больного и на основе определенной нравственной практики, у истоков своих прозрачной и ясной, но постепенно — по мере того как позитивизм подчинял все сферы науки своей мифологии научной объективности — преданной забвению; забыты были истоки и смысл этой практики, но сама она по-прежнему существовала и использовалась в лечении больных. То, что мы называем практикой психиатрии, есть определенная тактика нравственного воздействия, возникшая в конце XVIII в., сохранившаяся в ритуалах и образе жизни психиатрической лечебницы и скрытая под наложившимися на нее мифами позитивизма.

Но если для больного врач быстро превратится в чудотворца, а в своих собственных глазах — в позитивиста, то в действительности он не может быть ни тем, ни другим. Он больше не ведает источника своей таинственной власти, не может распознать в ней соучастия больного, никогда не согласился бы признать те древние силы, из которых она складывается, и потому ему приходится придать ей новый статус; а поскольку позитивная наука не может никак обосновать подобную передачу своей воли больному, подобное воздействие на него на расстоянии, то очень скоро наступает момент, когда ответственность за эти аномальные явления будет возложена на само безумие. Все эти ни на чем не основанные исцеления, которые при всем желании нельзя представить как исцеления ложные, превратятся в подлинные исцеления ложных болезней. Безумие было вовсе не тем, чем его считали и чем оно мнило себя само; оно было чем-то бесконечно меньшим — сочетанием внушения и мистификации. Перед нами уже проступают контуры идей, которые оформятся в пифийстве Бабинского. Мысль, описав какой-то странный круг, возвращается почти на два столетия назад, к эпохе, когда граница между безумием, ложным безумием и симуляцией безумия была весьма зыбкой, ибо, не обладая настоящим единством, они были едины в своей неявной причастности к вине; в конечном итоге медицинская мысль идет еще дальше и производит наконец уподобление, перед которым останавливалась в сомнениях западная мысль, начиная еще с древнегреческой медицины: уподобление безумия и безумия — иными словами, медицинского концепта безумия и его критического понятия. В размышлениях

современников Бабинского, в конце XIX в., мы встречаем поразительный постулат, который прежде не осмеливалось сформулировать ни одно направление в медицине: что безумие — это, в конце концов, всего лишь безумие.

Итак, в то время как душевнобольной целиком и полностью отчужден в реальной личности своего врача, врач развеивает реальность душевной болезни в критическом понятии безумия. Таким образом, за пределами пустых форм позитивистской мысли остается одна-единственная конкретная реальность: пара врач-больной, к которой сводятся и в которой возникает и преодолеваются все виды отчуждения в сумасшествии. И поскольку это так, постольку все развитие психиатрии XIX в. реально замыкается на фигуре Фрейда. Именно он впервые принял пару врач-больной во всей ее реальности и серьезности, впервые согласился обратить на нее свои наблюдения и исследования, не пытаясь завуалировать ее в какой-либо психиатрической теории, мало-мальски укладывающейся в рамки остальной медицинской науки; именно он впервые проследил со всей строгостью все ее последствия. Фрейд демистифицировал все остальные структуры психиатрической лечебницы: уничтожил молчание и взгляд, отказался от узнавания безумием самого себя в зеркале как зрелища, заставил умолкнуть обвинительные инстанции. Зато он развил и использовал ту структуру, что включает в себя врача, — умножил и распространил еще дальше его способности чудотворца, придал его всемогуществу едва ли не божественный статус. На него, на одно лишь его присутствие, скрытое за фигурой больного и возвышающееся над ней — так что самое его отсутствие также превращается в тотальное присутствие, — он перенес все те силы, какие прежде были распределены в коллективном существовании в лечебнице; он сделал это присутствие абсолютным Взглядом, чистым, неизменно присутствующим в сознании Молчанием, карающим и вознаграждающим Судьей, чей суд не снисходит даже до языковых форм; он сделал его зеркалом, в котором безумие, пребывая в почти полной неподвижности, страстно очаровывается — и разочаровывается в самом себе.

Фрейд привязал к фигуре врача все структуры изоляции, использованные Пинелем и Тьюком для своих целей. Он, безусловно, избавил больного от того существования в лечебнице, посредством которого “освободители” подвергли его отчуждению; но он не избавил его от главного, на чем основывалось это существование; он свел воедино все таящиеся в нем силы, довел их до предельного напряжения, вложив их в руки врачу; он создал ситуацию психоанализа, где само отчуждение-сумасшествие, подвергнувшись как бы гениальному короткому замыканию, становится силой, преодолевающей отчуждение, — ибо в фигуре врача оно превращается в субъект.

Врач как средство отчуждения остается ключевой фигурой психоанализа. Быть может, именно потому, что психоанализ не уничтожил этой последней структуры, именно потому, что он свел к ней и все остальные, он не может, и никогда не сможет услышать голос неразумия, разгадать признаки помешательства как таковые. Психоанализ способен избавить лишь от некоторых форм безумия; самодовлеющие процессы неразумия ему неподвластны и чужды. Он не может ни раскрыть, ни изложить, ни тем более объяснить сущность его кропотливого труда.

С конца XVIII в. неразумие как живое начало будет являть себя лишь проблесками, зарницами — в произведениях Гёльдерлина, Нерваля, Ницше, Арто, бесконечно непохожих на все эти целительные отчуждения, несущих в себе ту силу сопротивления, которая

спасает их от гигантской нравственной тюрьмы, от заточения, именуемого обычно — по-видимому, через антифразис — освобождением сумасшедших Пинелем и Тьюком.

Версия #1

Зверобой создал 2 февраля 2026 03:12:16

Зверобой обновил 2 февраля 2026 03:14:22